A magnifying glass with a black frame is positioned over the pages of an old, thick book. The book is open, showing aged, yellowed pages with some faint text. The entire scene is set on a rustic, dark wooden surface. The lighting is warm and focused, creating a sense of depth and highlighting the textures of the paper and wood.

Дмитрий  
Урнов

Литература  
как жизнь

Дмитрий Урнов

**Литература как жизнь. Том I**

«Издательство им. Сабашниковых»

2021

УДК 798(091)  
ББК 75.722Г

**Урнов Д. М.**

Литература как жизнь. Том I / Д. М. Урнов — «Издательство им. Сабашниковых», 2021

ISBN 978-5-8242-0177-2

Дмитрий Михайлович Урнов (род. в 1936 г., Москва), литератор, выпускник Московского Университета, доктор филологических наук, профессор. «До чего же летуча атмосфера того или иного времени и как трудно удержать в памяти характер эпохи, восстанавливая, а не придумывая пережитое» — таков мотив двухтомных воспоминаний протяжённостью с конца 1930-х до 2020-х годов нашего времени. Автор, биограф писателей и хроникер своего увлечения конным спортом, известен книгой о Даниеле Дефо в серии ЖЗЛ, повестью о Томасе Пейне в серии «Пламенные революционеры» и такими популярными очерковыми книгами, как «По словам лошади» и на «На благо лошадей». Первый том воспоминаний содержит «послужной список», включающий обучение в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова, сотрудничество в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, участие в деятельности Союза советских писателей, заведование кафедрой литературы в Московском Государственном Институте международных отношений и профессию в Америке. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 798(091)  
ББК 75.722Г

ISBN 978-5-8242-0177-2

© Урнов Д. М., 2021

© Издательство им.  
Сабашниковых, 2021

## Содержание

Об авторе	7
Критические встречи	9
Последняя советская ночь	9
Облик поколений	53
Из классики	53
Поездка на родину	54
Пристрастия	67
Пятый океан	75
У колыбели звездоплавания	76
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Дмитрий Урнов

## Литература как жизнь. I том

© Издательство им. Сабашниковых, 2021

© Д.М. Урнов, 2021

\* \* \*

*«Не настаиваю на своей правоте, говорю о пережитом, о том, что  
понял, насколько был способен понять ставшее историей».*

*Дмитрий Урнов*



Д. М. Урнов. Фото Александра Карзанова, 1990 г.



## Об авторе

Дмитрий Михайлович Урнов (р. 1936, Москва), литературовед, в 1953 – 1958 гг. студент-филолог, выпускник Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова, на конкурсе 1956 г. в честь 200-летия Университета получил грамоту за доклад «Шекспир в России» (руководитель профессор Р. М. Самарин), курсовая работа «Вильям Годвин – основоположник социального романа» (руководитель профессор В. В. Ивашева) была опубликована в сборнике «Из истории западноевропейских литератур XVIII–XX вв.» (Издательство МГУ 1958). В 1958 – 1991 гг. – сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. По совместительству в 1983–1991 гг. занимал должность профессора и заведующего Кафедрой мировой литературы и культуры Московского Государственного Института Международных отношений Министерства иностранных дел. В 1978 – 1991 гг. координировал проекты по литературоведению в рамках Двусторонней Комиссии по гуманитарным наукам Академии Наук СССР и Всеамериканского Совета Ученых обществ (American Council of Learned Societies).

В 1958 – 2001 гг. – участник коллективных трудов Института Мировой литературы: десяти томной «Истории Всемирной литературы», трехтомной «Теории стилей» и др.<sup>1</sup> Участвовал в разработке проекта «Библиотека Всемирной литературы», выходявшей в государственном издательстве «Художественная литература», в трех томах БВЛ отвечал за состав, написание предисловий и комментариев, опубликовал плановую работу и защитил докторскую диссертацию – «Литературное произведение в оценке англоамериканской “Новой критики”» (Москва: «Наука», 1982). Автор книг о Шекспире (совместно с М. В. Урновым), «Литература и движение времени. Из опыта английской и американской литературы XX века» (совм. с М. В. Урновым, 1978), опубликовал книги о Дефо, Томасе Пейне, Льюисе Кэрролле и Джозефе Конраде, а также сборник статей «Пристрастия и принципы» (1989), составитель однотомного и двухтомного собрания произведений Шекспира, восьмитомного собрания романов Вальтера Скотта, при его участии издан однотомник произведений Дефо и двухтомник произведений Байрона.

Член Союза Советских писателей с 1972 г., с 1978 г. заместитель Председателя Приемной Комиссии Московского Отделения Союза, в 1988 – 1992 гг. – главный редактор «Вопросов литературы», научно-литературного журнала Союза писателей и Института Мировой литературы.

В 1991 – 2006 гг. преподавал в США: адъюнкт-профессор в Американском Университете (Вашингтон, округ Колумбия), профессор-стипендиат Фонда Джона М. Олина в Университете Адельфи (Гарден-Сити, Лонг-Айленд, Нью-Йорк), доцент в Колледже округа Нассау (Гарден-Сити, Лонг-Айленд, Нью-Йорк). С 2006 г. на пенсии.

С 1992 г. по н/время – консультант Американо-Российского Фонда культурного сотрудничества (The American-Russian Cultural Cooperation Foundation, ARCCF), принимал участие в подготовке мероприятий Фонда: Толстой и Америка, двухсотлетие со дня рождения Лермонтова, 150-летие визита русских кораблей в США, 100-летие фоторепортажа «Россия – страна великих возможностей» (National Geographic, 1914 г.), 70-летие Победы союзников во Второй Мировой войне и др.

В 1997 г. в рамках общеамериканского проекта «Лики Америки», совместно с женой, профессором Ю. В. Палиевской, провел выставку «Они – из России. Вклад русских в амери-

---

<sup>1</sup> См. Труды Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Библиографический указатель. 1939-2000. Составитель Е. Д. Лебедева. Ответственный редактор А. С. Курилов. Москва: ИМЛИ РАН, №№ изданий 396-398, 461, 474, 496, 410-513, 521, 685, 703, 706, 709, 710, 711, 714, 799, 833, 838-841, 929, 57, 961, 81 981 997 998 1000 1023 1050 1055 1054 1065 1081 1091 1995 1103 1106 1109 1117 1152 1160; Труды Института мировой литературы им. А. М. Горького 2001-2010 гг. № изд. 298.

канскую культуру», выставка демонстрировалась в Библиотеке им. Холи Паттерсона Колледжа округа Нассау Университета штата Нью-Йорк.

Со школьных лет занимался конным спортом, в 1951 г. получил разряд в конно-спортивной школе «Труд», с 1955 г. выступал в рысистых испытаниях на Центральном Московском ипподроме, в 1968–1969 гг. в качестве кучера вместе с ветврачем Е. В. Шашириным доставил за океан русскую тройку – государственный подарок лауреату Ленинской премии мира, железнодорожному магнату Сайрусу Итону, с 1992 г. состоял в Ковбойской Ассоциации Касселтона (Северная Дакота), принимал участие в местных соревнованиях по загону скота. В 1959 – 2005 гг. печатался в журнале Министерства Сельского хозяйства «Коневодство и конный спорт», написал книги «По словам лошади», «Железный посыл», «Приз Бородинского боя», «Кони в океане», «Похищение белого коня», «Жизнь замечательных лошадей», «На благо лошадей». Совместно с Ю. В. Палиевской подготовил книгу Якова Бутовича «Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика» (Издательство им. Сабашниковых, 2013).



## Критические встречи

### Последняя советская ночь

*«...И мир был пуст,  
Тот многолюдный мир, могучий мир  
Был мертвой массой, без травы, деревьев,  
Без жизни, времени, людей, движенья...»*

*Байрон в переводе Тургенева.*

Под Новый 1992-й год мы с женой<sup>2</sup> стояли перед зданием нашего Посольства в Вашингтоне и смотрели, как спускается советский флаг. Находились мы в Америке по программе советско-американского академического сотрудничества. Два семестра, весной и осенью 1991 г., с летним домашним перерывом, вели исследовательскую работу и преподавали. На Английской кафедре Университета Виргинии в городе Шарлотсвиле жена, получившая стипендию Фулбрайта, читала курс американского и русского романа, а в университетском архиве изучала материалы Уильяма Фолкнера. В этом университете, который окончила его дочь, Фолкнер некогда вел семинар, беседы писателя со студентами были записаны на пленку, записи расшифрованы и выпущены книгой, для русского издания моя жена как переводчик принимала участие в работе над текстами и получила возможность сравнить сказанное с опубликованным. Многозначительными оказались паузы, когда Фолкнер не сразу находил ответ или же вовсе не знал, что сказать.

При том же университете в Центре изучения культурных и литературных перемен я числился стажером, занимался Генри Адамсом (1838–1918). Отпрыск первого из первых семейств Америки, правнук и внук Президентов стал «антиамериканцем», каких теперь в Конгрессе предлагают если не преследовать, то по крайней мере расследовать. Историк и мемуарист, часть отечественной истории и ту же историю изучавший, Генри заговорил о «неудаче американского эксперимента», среди основоположников которого был его прадед, а продолжателями являлись его дед и отец.

Родился и вырос Генри Адамс в Бостоне, колыбели Американской революции, его прадед, первый Вице-Президент и второй Президент США, своей рукой переписал набело Декларацию Независимости и участвовал в составлении Американской Конституции, дед был назначен первым американским послом в России и стал шестым Президентом США, отец детство провел в Санкт-Петербурге, там же начал учиться, удостоился благорасположения Императора Александра I, в своей стране был избран в Палату Представителей и направлен послом в Англию, до конца жизни занимался изданием материалов отца и деда. Основное из этих изданий – многотомный дневник посла и президента Джона Квинси Адамса, охватывающий в том числе годы его пребывания в России времен Наполеоновского нашествия. Заокеанский посланник поражался патриотизму русских крестьян, которые сражались с иноземным врагом,

---

<sup>2</sup> Юлия Васильевна Палиевская – филолог, автор первой монографии о Фолкнере на русском языке, вышедшей в 1970 г., а также предисловий к переводам его произведений. Сделанные ею переводы вошли в кн. Уильям Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма (Москва: «Радуга», 1985). Родилась в Смоленске, ранние годы – немецкая оккупация, плен и нацистский трудовой лагерь. С окончанием войны вместе с семьей вернулась на родину. Мы оба учились на филологическом факультете Московского Университета, окончили романо-германское отделение. Около тридцати лет Ю. В. преподавала в МГУ на кафедре английского языка. В США после стажировки в Университете Виргинии получила должность на кафедре английского языка Колледжа Нассау (Государственный Университет штата Нью-Йорк). Ушла на пенсию в звании Honoris Causa, почетного профессора. Домашний редактор моего текста, читатель сочувственный и беспощадный.

вместо того чтобы сбросить крепостное иго. Его соотечественники, воюя за отделение от Британской Империи, не решились вооружить рабов.

Генри окончил Гарвардский Университет, молодость, пришедшуюся на годы Гражданской войны, провел в Лондоне, исполняя обязанности секретаря посла – своего отца, по возвращении в Америку получил в Гарварде должность профессора. Среди аспирантов у него оказался его тезка, будущий сенатор Генри Кэбот Лодж, друг на всю жизнь, многолетний представитель своей страны в Лиге наций и в ООН. До сего дня фигура Лоджа служит ориентиром, его репутация в текущей политике колеблется от узколобого консерватора к истинному патриоту, убежденному, что «американский идеализм, имея целью справедливость и свободу, значительно коварнее империализма Великобритании, Франции и России» (простодушные Света Нового против изощренного сознания Старого мира стало темой творчества ещё одного друга и тезки – Генри Джеймса). Попытки самого Генри Адамса включиться в политику привели его к мысли о своей непригодности или, скорее, неуместности в общественной жизни при новых временах и нравах, чрезмерно демократических, с его точки зрения. Единственный раз он взял на себя неофициальную, но все же, думаю, политическую миссию, когда в 1901 г., повторяя маршрут своих предков, поехал в Россию, встречался с министром финансов Витте и министром иностранных дел Ламсдорфом.

Генри Адамс создал многотомные труды по истории США тех времен, когда у власти были Адамсы. Себя он считал нарушившим семейную традицию активного участия в государственной жизни, однако в центре Вашингтона, прямо напротив Белого Дома, по другую сторону Площади Лафайета (аналог Красной площади), выстроил себе особняк, стена в стену с особняком ещё одного близкого друга, Государственного секретаря Джона Хэя, для которого, как и для Лоджа, американский империализм был равен политическому идеализму во имя свободы, демократии и национальных интересов. Достаточно было сотрудникам американской администрации, общим знакомым Адамса и Хэя, перейти через площадь, чтобы позлословить в штабе неформальной оппозиции<sup>3</sup>.

Свое отношение к верхам американского руководства Генри Адамс выразил в ироническом романе «Демократия», русский перевод которого, сделанный Дмитрием Михаловским (сотрудник Достоевского), был опубликован в журнале «Изящная литература» (редактор П. И. Вейнберг). Роман – *livre a clef*, «книга с ключом» – полна намеков на реальных деятелей. Оригиналы узнавали себя и злобствовали, но приглашать в Белый Дом на торжественные обеды Генри Адамса приглашали, место его было *vis-a-vis* с Теодором Рузвельтом.

После смерти жены, жертвы маниакального психоза, покончившей жизнь самоубийством, Генри Адамс, располагая наследственными, что называется «свободными средствами», странствовал по свету, размышляя о путях истории, а затем, книга за книгой, излагал и публиковал свои размышления. Автобиографию, названную «Воспитание Генри Адамса», так и написал в третьем лице (как Ксенофонт), будто не он писал, напечатал анонимно, сквозной мотив книги – неудача личная и национальная<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> В доме Джона Хэя потолок был золотым, а камин – малахитовым. Генри Адамс выдержал свой дом в так называемом «буропесчаном» стиле американского модерна. Оба строения со временем оказались разобраны, на их месте построен отель, символически названный «Хэй-Адамс», с верхнего этажа, как на ладони, открывается вид на официальный центр Вашингтона. В отеле, освященном двумя историческими именами, проходило одно из мероприятий Американско-российского фонда культурного сотрудничества – Лермонтовский юбилей 2014 г. Через дорогу на смежной улице находится дом железнодорожного магната Пульмана, приобретенный ещё в царские времена для российского посольства, которое стало и оставалось советским. В 80-х годах Посольство Советского Союза переехало на Массачусетс Авеню в новое здание в другом районе столицы, даже не здание, а специально построенный комплекс. Над комплексом, как положено, развевался флаг СССР, который и был ceremonially спущен в Новогоднюю ночь 1992-го.

<sup>4</sup> Первый и единственный перевод «Воспитания Генри Адамса», сделанный М. А. Шерешевской, был опубликован издательством «Прогресс» в 1988 г. В предисловии к этому изданию сказано, что на Генри Адамса «не обратили внимания советские литературоведы». У меня к тому времени о нем были опубликованы две статьи, их, вероятно, не заметили или сочли нужным не заметить: уже вышла моя рецензия на «Доктора Живаго», и для многих, даже неплохо ко мне относившихся,

«Генри устыдился самого себя за то, что мог думать, будто демократическая республика будет способна породить интеллектуальную энергию и подняться на уровень того умственного развития, которое со времен Вашингтона считалось само собой разумеющимся его собственным прадедом и политиками того поколения... Демократия, бескрайняя масса враждующих интересов и голов, которые поощряются системой промышленной конкуренции, оказалась по ходу своего беспредельного распространения в сущности миражем, лишенным коллективной интеллектуальной энергии», – так умонастроение Генри Адамса определил его младший брат, названный Бруксом в честь деда с материнской стороны, бостонского предпринимателя Питера Брукса. Тоже историк, Брукс Адамс оказался влиятелен как геополитический мыслитель. Своими воззрениями, изложенными в книге «Закон развития и разложения», младший из Адамсов воздействовал на старшего, который прочитал книгу в рукописи, и она показалась ему самоубийственной. «Ты закроешь себе путь в политику, если опубликуешь тобой написанное», – сказал Генри брату<sup>5</sup>. Однако Брукс работал над рукописью, и книга вышла, её идея: воздействие банковского кредита на ход истории, власть тех, кого сегодня называют «хозяевами денег». И это младший брат суть лекций и открытых писем старшего брата, вошедших в посмертный сборник, обозначил формулой «Вырождение демократической догмы»<sup>6</sup>.

*Зубки прорезываются и начинают груди матери-кормилицы кусать*, – говорил Пушкин, зная по себе и за своими современниками воздействие самосокрушительной потребности. Как кусать, зависит от самосознания, если говорить не о младенцах. Американское отступничество мне хотелось понять ради сравнения. О кризисе советской системы, заговорили, начиная с 60-х годов, дети советского руководства. Баловни советской власти стали способствовать её сокрушению, но в отличие от американского автора самокритической автобиографии, не сознавали или не желали сознавать, за счёт чего они попали в историю.

Таково, например, было умонастроение дочери Сталина, Светланы Иосифовны Аллилуевой, с которой мы оказались под крышей одного и того же учреждения – Института Мировой Литературы. С её братом, Василием, летчиком и любителем верховой езды, бывал я в стенах одной и той же конюшни, от конников слышал, что добротой Василий Иосифович не отличался, систему не расшатывал, однако компрометировал, не всегда слушаясь «Батю».

Во время моей первой заокеанской стажировки 1979 года я поделился своим замыслом с профессором Гарвардского Университета, советологом. «Если бы вы так и написали о них...», – сказал мой собеседник, имея в виду советских аналогов американского прототипа. Взять и написать, что система у нас разрушается сверху, было невозможно. Написал я об американцах, оторвавшихся от своих корней и как бы «закрывших Америку» – Генри Адамс, его друг, писатель-эмигрант Генри Джеймс и принадлежавший к той же среде сын фабриканта, поэт и эссеист, в свою очередь эмигрант Т. С. Элиот<sup>7</sup>.

---

я перестал существовать. Согласны ли они были с мнением большинства или, опасаясь большинства, не хотели высказать сочувствия отверженному, этого я, конечно, знать не могу. Если и были согласные, они публично не высказывались. Автор «Русофобии» Андрей Игоревич Шафаревич на собрании интеллигенции ко мне подошел, представился и вполголоса сказал: «Я с вами согласен». Такую же записку прислал Владимир Рогов.

<sup>5</sup> Brooks Adams. The Law of civilization and decay. An essay on history (1886). With an introduction by Charles A. Beard. New York: Knopf, 1943. Насколько опасения Генри Адамса оказались небеспочвенны, говорят характеристики, которые дают Бруксу Адамсу в наши дни, называя его предшественником гитлеризма. Источником финансового капитализма Брукс Адамс считал ростовщиков, приехавших из Ломбардии и обосновавшихся в лондонском Сити на улице Ломбард-Стрит. Обличение «еврейских денег» входило в нацистскую демагогию.

<sup>6</sup> Henry Adams. The Degradation of the democratic dogma. With an introduction by Brooks Adams. New York: Macmillan, 1920.

<sup>7</sup> «Англо-американский вариант: к проблеме определений», Контекст-1985. Литературно-теоретические исследования. Москва: «Наука», 1986, С. 102–147. В статье допущена ошибка, из тех ошибок, при воспоминании о которых краснеешь. В одной американской книге я прочитал и мне запомнилось: узнав себя в одном из персонажей «Демократии», кандидат в Президенты принял за автора романа близкого друга Генри Адамса и зарезал его. Добраться до книги, прочитанной в библиотеке Гарвардского Университета, я не смог, а мои записки, отправленные почтой, были кофискованы. Воспроизвел по памяти. Занимавшийся Генри Адамсом историк, профессор Университета Виргинии, прислал мне письмо: «Вы, вероятно, имели в виду срезал, то есть оборвал». Мера расплаты – моя ошибка, но все же расплатился не виновник. Генри, свой человек в пра-

Книгу о Генри Адамсе заказал мне Политиздат после книги о Томасе Пейне<sup>8</sup>. Повесть о барабанщике Американской революции в серии «Пламенные революционеры» вышла незадолго перед развалом, и когда её обсуждали читатели, они говорили с возмущением: «Что вы нам про Америку размазываете? У нас то же самое творится!» Нашим гражданам пересмотр однажды провозглашенных уравнилельных принципов (с чем в свое время столкнулся Томас Пейн) напоминал реставрационные устремления советского руководства. Генри Адамс годился бы для серии «Убежденные консерваторы». Такой серии ещё не было, назвать книгу я хотел «Генри, или Отступник» и, пользуясь случаем, вчитывался в его письма, что хранились в Университете Виргинии.

В мае 1991-го, времена ещё советские, выслушали меня в Центре изучения общественных проблем тоже при Университете Виргинии. В августе, не успели мы с женой после летних каникул вернуться, потерпел неудачу просоветский «путч», в конце года перестал существовать Советский Союз, американцы алкали узнать, что же произошло. С моим истолкованием совершившегося они соглашались далеко не всегда, но не мешали мне высказываться. От выступления к выступлению я повторял сказанное виргинцам: *перестройка – окончательный передел революционных завоеваний и бегство с добычей при помощи извне (the ultimate redistributions of the revolutionaty spoils seventy years after the revolution of 1917, and an escape with the loot, assisted from the outside).*

Мое интервью на американском телевидении после путча в августе 1991-го восприняли в России как поддержку путчистов, возвращаться домой оказалось опасно – сочувствующих путчистам собирались вместе с ними сажать в тюрьму. Я принял предложение и как адъюнкт (почасовик) преподавал один семестр в Американском Университете Вашингтона. Преподавать пригласил меня наш партнер по Двусторонней Советско-Американской Комиссии гуманитарных наук, заведующий программой советологических исследований, профессор Вадим Медиш.

Слово партнер, получившее сейчас широкое хождение, вероятно, следует пояснить. Созданная в условиях холодной войны Двусторонняя Комиссия была предназначена налаживать отношения, поэтому, выбирая проблемы для обсуждения, мы взаимно старались не конфликтовать. «Как вам удастся проводить двусторонние мероприятия, когда у физиков они расстраиваются?» – спросил меня американский дипломат. Физики ссорились из-за Сахарова, а у нас – Толстой и Марк Твен, Тургенев и Генри Джеймс.

В Американском Университете Президент Кеннеди за несколько месяцев до своей гибели произнес миротворческую и, оказалось, предсмертную речь, провозгласившую новое мышление, позднее приписанное Горбачеву. Кроме занятий, Медиш попросил меня выступать с общедоступными лекциями о происходившем в нашей стране: брожение, начавшееся у нас, вызывало у американцев невероятный интерес. Не выдавая себя за политолога или историка, я в лекции «Семантика перестройки» говорил об игре словами из политического жаргона, чем занимался Горбачев и его приспешники.

Февральский-майский семестр 1992-го, называемый «весенним», я пробыл консультантом на Кафедре иностранных языков Колледжа округа Нассау – учебное заведение на Долгом Острове (Лонг-Айленде) в системе Университета штата Нью-Йорк. Заведующий кафедрой, профессор Константин Ипполитович Каллаур, в свою очередь партнер по Двусторонней

---

вительственных кругах, напал на исподтишка, а досталось за него другому.

<sup>8</sup> Неистовый Том, или Потерянный прах. Повесть о Томасе Пейне. Редактор Л. Б. Родкина. Москва: Издательство политической литературы, 1989. Среди сочинений Томаса Пейна есть пространное письмо, на семьдесят пять страниц, обращенное к Джорджу Вашингтону. В отдельной главе своей книги я изложил содержание письма и прочертил канву отношений Вашингтона с Пейном, начавшихся союзничеством и закончившихся разрывом. Американский издатель, рассмотрев мою книжку на предмет перевода, прислал мне отказ и, перечисляя причины, в том числе, отметил: «Наши читатели всё это знают». Даже среди профессоров американской литературы я встречал не читавших то письмо, своего рода «доклад» о культе личности первого президента.

Комиссии, поручил мне прочитать цикл публичных лекций для Общественного просвещения – вроде нашего Всесоюзного Общества «Знание», по путевкам которого я выступал из года в год с того времени, как осенью 1958-го стал сотрудником ИМЛИ. Тему цикла определил Каллаур: «Перемены и проблемы в современной России». Первая лекция прошла с аншлагом и продолжалась три часа, последующие лекции, касавшиеся разных сторон нашей жизни, уже не были столь популярны, но кафедра обеспечила фоно и видео записи всех лекций, помещенных в библиотеку колледжа. Расшифровка записей позволила мне до конца семестра составить текст «Горбачев и последствия им содеянного. Впечатления потерпевшего» (*Gorby and After. Observations of a Soviet Survivor*, 257 pp.). Первоначальный вариант перерабатывался, менялось заглавие и композиция, но суть, как и в лекциях, оставалась прежней.

Искать издателя помогала мне профессор Анна Балакян, ещё один партнер по Двусторонней Комиссии, заведующая кафедрой сравнительного литературоведения в частном Университете Нью-Йорка, она же ещё в 1983 г. пригласила меня прочитать спецкурс «Литература и критика». Издатель Джордж Бразильер, с которым меня познакомила Балакян, возглавлял им же основанную фирму, в названии которой значилось – «Независимое издательство». Вскоре я получил мой текст обратно с коротеньким письмом: «Я решил не печатать этой книги». «Бразильер, может, и не читал моей рукописи?» – спросил я у Каллаура. «Нет, – ответил Костя, – он отказался печатать, именно потому что читал». Мой мемуарный опус отвергали одно за другим университетские и коммерческие издательства, и в подражание Джеку Лондону и Скотту-Фитцджеральду, а также литературным образцам, Мартину Идену и Адриану Моу, я коллекционировал отказы. Отказы обычно объяснялись переизбытком изданий о России, их действительно появилось немало, однако не моего уклона.

«Не возьмём», – получил я очередной отказ от редактора почтенной бостонской издательской фирмы, с которой связи у нас по линии Двусторонней Комиссии были установлены в советские времена. Тон, каким редактор, настроенный ко мне благожелательно, произнес «Не возьмём», давал понять, что дело не в стилистических погрешностях и не в композиционной рыхлости. Спрос на перестройку, производству палки в колеса совать не станешь. «Не отчаивайтесь. Желаю удачи!» – ободрил меня редактор, возвращая рукопись. Издательств в Америке предостаточно, однако от американца, знающего мир печати и прочитавшего мой текст, я получил письмо: «Ни один издатель публиковать этого не станет». Мнение было авторитетным, и я перестал рассылать заявку, пытался выпустить за свой счёт, внес аванс, но фирма прогорела и аванс не вернули. Машинопись по экземпляру я отправил хорошим знакомым. Это – профессор Н. В. Рязановский на кафедре истории в Университете Калифорнии Отделение Беркли, и строительный подрядчик, книжник-коллекционер, основатель библиотеки своего имени Ирвин Т. Хольцман (Блумфилд Хиллс, штат Мичиган). Послал и в Россию моему бывшему аспиранту Айдыну Джебраилову. Айдын, получив степень кандидата филологических наук, расширил квалификацию и стал видным юристом.

Расходясь с преобладавшими воззрениями на события в нашей стране, я старался, как мог, выразить свою точку зрения, что редко, но удавалось. С лекцией, на этот раз о литературе, о том, какую роль она играла в СССР, меня, по рекомендации Анны Балакян, пригласили выступить в государственном Университете штата Нью-Йорк. Мероприятие проводил профессор Николай Ржевский, и если лекцию в Колледже Нассау слушали целый вечер, то в Университете штата Нью-Йорк говорил я всё утро до обеда, и дело не в том, как я говорил, а в том – как слушали, интересуясь происходившим у нас. Приглашали и в школы, после одного из выступлений я услышал упрек: «Ребята просто хотели порадоваться наступлению демократии в России». Сказанное мной испортило им настроение.

Полемику со Львом Аннинским, моим университетским соучеником, напечатал Алексей Бархатов, главный редактор журнала «Лепта». Выходивший в колледже Хантер в Нью-Йорке журнал «Полемист» (*The Polemicist*), а также *Nassau Review* Колледжа Нассау распе-

чатали переработанный вариант «Наблюдений (впечатлений?) потерпевшего» – «Признания одного из бывших, советских». Редактор «Полемиста» Джон Шеррилл (John Sherrill) выправил мой английский, но содержания текста не трогал. Не вмешивался и редактор Nassau Review, профессор Пол Дойль (Paul Doyle), он же, однако, сообщил, что публикации многим не нравятся. Неудовольствие было выражено, когда для курса «Как писать мемуары» отпечатали в качестве пособия мои «Признания» (Confessions of a Soviet Survivor. Printing Department of Nassau Community College, 2003).

Студенты читать моей брошюры и не думали, они были готовы писать о себе, читать о других не хотели, один из студентов мне так и сказал: «Знаете, профессор, писать я могу, а читать как-то не получается». Мои студенты меня научили многому, чего я себе и не представлял. Но на курс помимо студентов записались вольнослушатели зрелого возраста, они, за единственным исключением, брошюру мне вернули с объяснением: «Этого курса я слушать не буду».

В методику американского преподавания входят сократические диалоги, но спорить со мной никто, как видно, не собирался. Мои несостоявшиеся вольнослушатели, судя по всему, избегали схваток того полемического накала, о котором в 1920-х писала Вирджиния Вулф. Нашу манеру дебатировать она сравнила с шумным говором людей, теснящихся в комнате и без малейшей сдержанности рассуждающих о своих переживаниях<sup>9</sup>. То было немыслимо во времена Вирджинии Вулф, но нервы люди Запада берегут по-прежнему.

В России специалистка по американской литературе, переводчица, друг нашей семьи, Татьяна Алексеевна Кудрявцева предложила брошюру в московский журнал «Знамя», где я когда-то печатался, однако на этот раз дело не выгорело, сослались на трудности перевода, а на мой пересказ по-русски и вовсе не откликнулись. Перевод «Признаний» был из номера в номер опубликован московской газетой «Слово» (ноябрь, 2005 г.), сделал перевод главный редактор, журналист-международник Виктор Линник. Брошюру я послал ему в память о наших с ним странствиях по линии Общества Дружбы с зарубежными странами. Перевод Виктор сделал без моего ведома, но, по мнению моей жены, перевод получился лучше оригинала.

Мои соученики с одной скамьи Московского Государственного Университета Софья Митрохина, Марина Ремнева, Лев Скворцов, Татьяна Скорбилина, Ираида Усок сумели издать два сборника наших воспоминаний<sup>10</sup>. В сборниках я принял участие и в дальнейшем стал писать по-русски, всё больше отклоняясь к литературе. Сдвиг отразился в названии моего текста, лейтмотивом стало *поглощение жизни литературными интересами*.

Ещё один университетский соученик, поэт и публицист, автор двухтомных воспоминаний о нашем с ним времени, Станислав Куняев, ставший главным редактором «Нашего современника», поместил в журнале главы моих воспоминаний<sup>11</sup>. Стас – на курс старше меня, связывала нас эстафета. Тренированный Стас бежал быстро, я – медленно, сопровождавшие колонну мотоциклисты просили: «Поднажми, а то у нас моторы глохнут». Неужели не нашли кого побыстрее защитить честь филологического факультета? Выбора не существовало, факультет был силен слабым полом. Дотягивал я до другого «Стаса», Станислава Рассадина, тоже спортсмена, будущего критика-шестидесятника, передавал эстафету ему, два Стаса наперстывали мной упущенное. На последнем этапе выводил нас вперед единственный среди филологов бегун-чемпион Даль Орлов, ставший известным кинокритиком. С умыслом называю имена,

<sup>9</sup> Из очерка «Русская точка зрения» (The Russian Point of View) в кн. Virginia Woolf. Second Series. London: Hogarth Press, 1925.

<sup>10</sup> «Время, оставшееся с нами. Воспоминания выпускников» (Филологический факультет, 2004), «Моховая, 9-11. Судьбы, события, память. Воспоминания филологов» (Издательство им. Сабашниковых, 2010).

<sup>11</sup> «Вадим и Бахтин» (2006, № 2), «"Доктор Живаго". Год 1988-й» (2008, № 4), «На противоположной прямой, или Памяти профессора Симмонса» (2010, № 11) и «Как Сталин "Гамлета" запретил» (2012, № 2).

которые сделались громкими и воспринимаются по-разному в противоборствующих лагерях: будущие литературно-политические противники студентами стремились к общей цели.

После некоторого перерыва вернул меня к литературно-общественной жизни ставший главным редактором «Вопросов литературы» Игорь Шайтанов, у которого лет сорок тому назад я оппонировал по диссертации. Игорь поместил мою статью мемуарного характера и сам написал к ней лестный врез. Вел статью редактор Сергей Чередниченко, в тексте не изменил ни слова<sup>12</sup>. Однако следующая попытка вспомнить прошлое не удалась. «Вестник МГУ» стал требовать изменений, упраздняющих смысл мной написанного, такой цензуры я не ожидал. Оковы пали, темницы рухнули, свобода дарована, но томившиеся под гнетом цензуры официальной цензуруют самих себя и – других. Раньше нам официально указывали, что лезя и нельзя, теперь взялись править по личному произволу. Советский литературный мир пронизывала групповщина, но над редакциями существовала верховная власть, можно было обратиться хотя бы с надеждой на апелляцию. В рыночных условиях, когда с шапкой по кругу обошёл я редакции, оказалось, что издания одного уклона составляют картель, или, как определил Ф. Р. Ливис, *organised culture*, союз творческого согласия и взаимной апологетики. Пришлось прибегнуть к самиздату (см. *Приложения*).

Возможность высказаться о перестройке я впервые получил в 1987 г. на собрании сотрудников Института Мировой литературы, когда обсуждался доклад М. С. Горбачева на Съезде КПСС. «Фальсификация известных нам принципиальных положений» – смысл моего выступления. Меня попросили изложить свои соображения, что я и сделал, текст был отправлен в Киевский Райком. По существу то же самое я изложил год спустя на совещании представителей интеллигенции в Академии политических наук. Вел совещание «прораб перестройки» Александр Николаевич Яковлев, Секретарь ЦК КПСС. На совещании присутствовала сопровождаемая кортежем консультантов Раиса Максимовна Горбачева. На мое выступление откликнулся один из её наперстников, драматург, автор политических пьес Михаил Шатров, он по моему адресу произнес одну фразу: «Всё это – чепуха». Не мне судить о своем выступлении, но мой оппонент просто отмахнулся от сказанного, не затрудняясь оправданием искажений ленинских слов, какие сам же цитировал в исторической драме о революционных временах (см. *Приложения*).

Вспоминать я начал, как только советское время истекло. От первого к окончательному варианту моего мемуарного текста миновала четверть века. Мнения мои за те годы не изменились – уточнились. О чем, начиная с выступлений в Университете Виргинии, говорилось в настоящем и даже в будущем времени (о Борисе Ельцине: «манипулируемый манипулятор»), стало прошлым. Уже не требуется доказывать того, что составляло предмет догадок и дебатов. Появились исследования о том, о чем мне высказываться можно было лишь предположительно. Кричать «Я первый сказал “Э!”» нелепо, но если я предлагал «надо бы изучить» и «хорошо бы выяснить», а с тех пор оказалось изучено и прояснилось, почему не сравнить, насколько продвинулось понимание происходившего? Вспоминая мои времена, нигде не утверждаю, будто понимал, что сделалось понятным лишь сегодня. Нельзя и упорствовать, если удалось узнать и понять больше того, что знал и понимал раньше.

... Киев 60-х годов: в столицу Украинской ССР мы с Ученым Секретарем ИМЛИ Александром Мироновичем Ушаковым поехали на конференцию, побывали у его приятеля, литератора Николая Николаевича с многозначительной фамилией Булгаков, и о чем бы ни начинали разговор, Н. Н. прерывал нас: «Вы не представляете, что здесь творится! Не представляете!» С жаром и даже ужасом русский киевлянин принимался рассказывать о самостийном национализме. «Собираются и поют, поют кобзари. Вы бы послушали, что они поют!» – распалялся Николай Николаевич. А мы слушали его и – не вслушивались. Когда это было!

<sup>12</sup> «Ушедшее и вернувшееся» («Вопросы литературы» 2016, № 3).



Однако услышанное не забывалось: происходившее не позволяло забыть. Уже нельзя было не вслушаться, когда в 80-х годах от директора ИМЛИ Г. П. Бердникова, который некогда был литературным консультантом Брежнева, я услышал: «Не удержать!». Георгий Петрович шел с какого-то совещания, и красноречивее им брошенного слова говорило выражение его лица, предвещающая реформы, а распад.

Время коснулось литературной полемики, в которую я оказался вовлечен с конца 1950-х годов. В первоначальных вариантах мной написанного спор шёл с оппонентами здравствующими, и тон полемики в ожидании ответных ударов был задирист, однако от варианта к варианту всё чаще приходилось снижать накал, меняя глаголы настоящего времени на был и была. Уходили литераторы, которых я знал, читал, с которыми соглашался и спорил. «Нельзя полемизировать с покойниками», – упрекнул меня хороший знакомый, которого я просил прочесть часть рукописи. Дело не в личностях – полемика принципиальная. Отстаивая свои принципы, я, как правило, имена моих оппонентов считал нужным опустить, либо обозначил литерами. Исключения сделаны в одном-двух случаях, когда без имен теряется смысл полемики. Не настаиваю на своей правоте, говорю о пережитом, о том, что понял, насколько был способен понять ставшее историей.

«Рассказы, хранящиеся в том мешке,  
откуда их извлекают причуды памяти».

*Бальзак.*

Родившиеся в середине 1930-х годов, мы росли среди ветеранов революций 1905-го и 1917 г. Завершились революции упразднением Имперской России и возникновением Советского Союза, в котором я, сверстник Сталинской Конституции 1936 г., родился и жил до развала государства, называемого социалистическим. С детских лет слушали мы стариков, они в отношении к своему прошлому находились в положении, какое история уготовила нам, пережившим крах СССР.

«Участник двух революций» – так называл себя мой Дед Вася, имея в виду 905-й год и Февраль 17-го, в Октябре того же года он ушёл, это я еще школьником от него услышал. «Как ушёл? – спрашиваю. – Куда?» – «Почувствовал, что надо уходить и ушёл» – был ответ<sup>13</sup>. Моё сознательное время едва начиналось, и я был неспособен себе представить, как можно отрешиться от жизнедеятельности. Поворот исторического колеса заставил пережить то, о чем приходилось слышать или читать. *Конец моего времени* был тем чувствительнее, что деду в 17-м году исполнилось тридцать пять, а мне в 92-м стукнуло пятьдесят шесть, на пути, как говорится, с ярмарки. Глядя на спускающееся красное полотнище, я, если сказать словами Бальзака, «утратил сознание своих движений». Вроде бы шёл, зная, куда и зачем иду, вдруг цель движения исчезла, угасли стремления, нет потребности двигаться, и на меня повеяло «ветерком несуществования»<sup>14</sup>.

«Каждый из нас по-своему лошадь», – сказал поэт, очевидно, имея в виду участь диккенсовской клячи: вперед её толкает колымага, которую она же и везёт. В молодые годы сидевший на облучке и державшийся за вожжи, знаю, как бывает: лошадь берет на унос, летишь вверх ногами и волочишься, словно Ипполит, на вожжах. О распаде «упряжки», в которую были мы

---

<sup>13</sup> Василий Ефимович Урнов (1882–1957) – школьный учитель, из крестьян, окончил Народный Университет им. Шанявского по истории и экономике, автор «Справочника кооператора» и до сих пор цитируемой работы «Потребительская кооперация в хлебном деле»; эсер, в мае-октябре 1917 года – председатель Московского Совета Солдатских Депутатов. При советской власти начал работать в Центросоюзе, в 1920-х годах подвергся чистке и стал лишенцем, в 30-х преподавал историю на рабочих курсах, с начала войны и до конца своих дней – пенсионер, был занят написанием педагогического труда «Воспитание нового человека». Имя деда упоминается в изданиях, посвященных революционным событиям. Характеристика ему дана в мемуарах генерала А. И. Верховского «На трудном перевале».

<sup>14</sup> Слова российского эмигранта второй волны подсказаны стихами Франсуа Вийона. См. В. С. Варшавский. «Незамеченное поколение», Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1956, С. 9.

впряжены и которая нас же поддерживала, сигнализировал никнувший флаг моей страны. Однако спустя некоторое время поймал я себя на мысли, что охватившего меня ощущения бесцельности и беспочвенности стараюсь не чувствовать, будто переживания и не было. Это – не причуды памяти, это уловки, попытки подогнать прошлое под настоящее, самообман. Непредвзятая абберрация возникает у каждого. Помнишь, как сейчас, но причуды памяти играют шутки, меняя порядок событий. Другое дело уловки, искажение намеренное, когда, словно следуя Марку Твену, вспоминают, чего и не было. Американский юморист, вспоминая небывшее, шутил, мои современники всерьез наводят ретушь, не вспоминают, а выдумывают свое время. Можно пересматривать представления ушедшей эпохи, нельзя навязывать прошлому разочарований позднейших, подвергая память ретроспективной обработке, как выражался Троцкий.

«Наступает время, когда всюду видят следы явлений,  
которые лежали под носом, но в силу слепоты суждения их не замечали».

*Маркс.*

Вероятно и обратное: глядя на прошлое из другой эпохи, перестают видеть, что видели как современники. С глаз спала пелена, избавились от слепоты суждения, узнали о своем времени, чего не знали, и это произвело в сознаниях такую перетряску, что многие забыли самих себя. После войны кричали: «Сталину – ура!». «А я не кричал», – сказал при мне старший современник. Он оглянулся вокруг, словно хотел удостовериться, нет ли рядом свидетелей 40-х годов. Меня в расчёт не принял, очевидно полагая, что я слишком молод, чтобы помнить те времена, а я всё же успел услышать, как он кричал<sup>15</sup>.

В советское время козыряли причастностью к революции, сейчас о том, что за антисоветизм царил у них в семье, рассказывает потомство советской элиты. Многие, спохватившись, вспомнили, что они совсем не те, за кого они себя выдавали. Мой бывший пионервожатый оказался потомком славного купеческого рода и выпустил историю своего семейства. В его книге я искал страницы, где было бы сказано о том, что я слышал от тетки моего духовного наставника: их предок, лицо историческое, в эмиграции будто бы стал фашистом. Но в хронике наследника семейных преданий ничего сказано не было – факты профильтрованы.

Есть предлагающие груз прошлого сбросить и «перевернуть страницу», словно что было, то ушло, а нам до того дела нет, начнем с чистого листа. Но перевернуть страницу не значит перечеркнуть страницу и забыть, что там написано, ведь нам завещано строк печальных не стирать.

Появились правдолюбцы, которые, пробираясь наверх, оказывается, лгали, чтобы, провозгласить правду: люди, наделённые ложным сознанием, согласно Наполеону и Марксу, идеологи, у них голова наполняется, как пузырь, новым газом, их сознание вроде аэродинамической трубы, через которую туда-сюда проносятся с шумом нагнетаемые воздушные потоки. Пустотубое – так Михаил Лифшиц, «ископаемый марксист» (по словам Солженицына), определял суть арривистов, всегда активных и вечно преуспевающих, справляющих именины и на Антона, и на Онуфрия.

«Внутреннее освобождение вызывается тиранией извне,  
и чем сильнее официальный нажим, тем энергичнее умственное  
раскрепощение».

*В. О. Ключевский (перевод с английского).*

---

<sup>15</sup> Старик Хоттабыч – так именовали Сталина советские разведчики. Об этом в записи, помещенной в Интернет, рассказывает разведчик-аналитик Николай Леонов, отправленный за границу в мае 1953 г., после смерти «старика Хоттабыча». Рассказал Леонов об этом в 2007 г., и в голосе его чувствуется, пусть едва уловимая, но всё же ирония – какого времени? Когда бойцы невидимого фронта, упоминая старика-волшебника, любя или шутя, разумели великого вождя?

Историк имел в виду описанный в «Былом и думах» расцвет русской мысли при неудобобываемом Николае «Палкине». Во времена советского прижима (мои ровесники не дадут мне соврать) наши сознания работали достаточно свободно, чему поражаались иностранцы, если им удавалось попасть на «кухонные посиделки». Внешняя свобода предоставила простор своеволию. Фальсифицируя историю, обличают тех, кто прежде искажал прошлое. Месяцы, недели, даже дни разделяют эпохи, и немыслимое вчера, сегодня становится всеобщим, вроде разговоров о ленинской либеральности в противовес сталинской строгости. Между тем намёки будто бы на Сталина выискиваются, где намеков и не могло быть. Во время войны спектакль по пьесе «Король-паук» оформляла моя мать<sup>16</sup>. В письме 11-го июля 1943 г., пять месяцев спустя после Сталинградской битвы, она сообщает, что «сделала в театре кроме целого ряда исполнительских работ эскизы в законченном виде постановки “Король-паук”, детская сказка». Сейчас сомневаться бы не стали, что за Паук в той драматической притче Александры Бруштейн, а тогда и в голову не могли прийти нынешние аллюзии: паучья свастика нависала над страной.

Наше время было и осталось в основе сталинским, но десталинизация со второй половины 50-х годов провела рубеж, и кто пережил перелом, не может не чувствовать различий между тем, что появилось ещё при Сталине и что уже после него. Читая рассуждающих о моём времени, я стараюсь выяснить, какого они года рождения. Они, оказывается, в то время разве что родились, даже увидели свет ещё позже, и не жившие нашей жизнью нам разъясняют, как мы жили: одни говорят – ужасно, другие – прекрасно. Объясняющие наше время ошибаются, как ошибаются не испытывавшие того, о чём знают по бумагам: в документах не удерживается дух времени, улечучивается повседневность. О «духе времени» многое можно узнать, невозможно вдохнуть атмосферы минувшего.

На конференции 2007-го в Стэнфорде российский литературовед, профессор Константин Поливанов, 1959-го года рождения, возражая мне, утверждал, что в послевоенные годы возникло антисталинское движение. Возникло или нет, установят историки, в оглашенных же Поливановым мнениях мне слышался не антисталинизм, а схватка в Союзе писателей. Со ссылкой на Сталина (кто правильнее понимает товарища Сталина) власть хотели взять в свои руки вернувшиеся фронтовики<sup>17</sup>.

«В непрестанной борьбе групп, движимых корыстными интересами, напрасно было бы искать “прогрессивные” течения», – подчеркивает знаток средневековья<sup>18</sup>. История повторяется, и чем глубже погружаешься в историю, тем отчетливее видишь повторения, явственные до того, что вскрикиваешь про себя от удивления или от ужаса. Нынешняя Россия напоминает

<sup>16</sup> Ирина Борисовна Воробьева (1913–1972) – художник-декоратор, дочь инженера и дантистки, окончила Московское Художественное училище им. 905-го года, оформляла спектакли в Магнитогорском театре им. Пушкина, после войны работала на Мосфильме, в Художественных Мастерских Большого театра, оформляла павильон «Садоводство» на Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке, иллюстрировала помологические издания, в Государственном Училище Циркового и Эстрадного искусства преподавала историю искусства и рисование: предметы обязательные, иначе учеников на манеж не выпускали, воспитанники Училища, в том числе, слушавшие мать, прославились как артисты международного «Солнечного Цирка» (Cirque du Soleil).

<sup>17</sup> В 1990–2000-х годах Александр Зиновьев (1922–2006), философ, программист и политический либертарианец, выступая на постсоветском телевидении, рассказывал, как ему удавалось организовать сопротивление сталинизму в предвоенные и послевоенные годы. Если бы Зиновьев, на поколение старше меня, многое переживший и немало передумавший, опубликовал свои рассказы, прибавив подробностей, тогда можно бы убедиться, что это не аберрация памяти и не жонглиры. Насколько я представляю себе условия сталинского времени, Александр Зиновьев и его соратники, похоже, боролись с другими сталинистами – за Сталина: истово верующие обменивались взаимными обвинениями в ереси. Такие конфликты для тех времен были типичны. Пример подробности даже чрезмерной и вместе с тем недостаточной – автобиография антисталиниста того же поколения, физика и правозащитника Юрия Орлова. Его книга «Опасные мысли» меня особенно заинтересовала: он родился в той же деревне, что и мой отец, только на тринадцать лет позднее. Хотелось бы, конечно, узнать еще больше подробностей о временах коллективизации в тех краях, его родственники были и пособниками, и жертвами обезземеливания советского крестьянства. Но именно об этом у Юрия Орлова, убежденного ненавистника советской власти, сказано походя.

<sup>18</sup> И. Н. Голенищев-Кутузов в комментариях к подготовленному им изданию «Данте Алигьери. Малые произведения». Москва: «Наука», 1968, С. 422.

Францию времен Реставрации, Июльской монархии и – особенно – Второй Империи, когда, по Марксу, страна «была ничем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства»<sup>19</sup>. Знакомо?<sup>20</sup>

Товарищ Сталин, вы большой ученый  
В языкознании знаете вы толк,  
А я простой советский заключенный...

Это – из песни послесталинского времени, запели с разоблачением культа личности, а когда была создана песня, в которой кроме злой иронии ничего не слышно? С признанным автором слов Юзефом Алешковским я знаком, однако неблизко, чтобы у него спрашивать, но его друг Вадим Кожин не был уверен в происхождении песни.

Вадим – литературовед, критик, публицист, чаще называемый просто мыслителем. Под его именем в университетской библиотеке, которой я пользуюсь, числятся сорок три наименования. Вышли мы с Вадимом из того же университетского гнезда, Филологического факультета, между нами четыре года, воссоединились в Институте Мировой литературы. Назвать Вадима близким другом всё же не решусь, дружба – это почти родство, однако находились мы рядом больше тридцати лет, работали вместе, бок о бок, и у меня язык не повернется называть его иначе, как Вадимом. Канонизирующие Кожина сочтут это запанибратством, но так решила судьба: лица, которые были для меня Вальками и Васьками, Петьками и Серегами, Генками и Кольками, так и остались под именами без отчеств...

Декорум, где нужно, стараюсь соблюсти, однако страдаю синдромом, который был испытан и описан Михаилом Пришвиным: Пришвин говорит, что ничего не мог с собой поделаться, иначе, под другим именем персонаж переставал существовать в его представлении. Не чета классика мы однако подвержены той же закономерности. Со студенческой скамьи *Георгий Дмитриевич* Гачев стал и остался для нас *Генкой*, *Вадима Валерьяновича* мы величали по отчеству, желая его уязвить.

Вадим исполнял «Большого ученого» под гитару. Споет, великолепно споет, с душой, и усмехнется. Вопросов я Вадиму не задавал, он сам себя спрашивал, и, я думаю, не одному мне высказывал сомнения. Замечания, которые Вадим бросал между прочим, выражали его неуверенность в авторстве, не вполне, как он думал, индивидуальном, в обстоятельствах создания и, наконец, в содержании песни. Со ссылкой на самого Юза, Вадим утверждал, что изначально песня была без иронии: обращение к «большому ученому» звучало серьезно. Оттенки не умаляли и не умаляют значения песни, однако усложняют постижение её смысла как знамения времени – какого?

«Я был назначен бригадиром».  
*Анатолий Жигулин.*

Поэт Анатолий Жигулин, мой хороший приятель, попал после войны в тюремный лагерь. Причина заключения – школьное общество, согласно Толе, антисталинское. Рецензию на Толину книгу воспоминаний я, когда стал редакторствовать в журнале «Вопросы литературы», попросил написать наших с ним общих знакомых, его товарищей по несчастью. Рецензировать

<sup>19</sup> Н. М. Лукин и В. М. Далин, ред. «Новая история в документах и материалах», Огиз-Соцгиз, выпуск первый. 1934, С. 338.

<sup>20</sup> Какие приметы шестисотлетней давности не свойственны нашему времени? Чтобы лишний раз проверить, мной из учебного справочника взяты приметы эпохи Чосера: «Непрерывные войны, одни на войнах обогащаются, другие беднеют, неутрачивающие международные конфликты вызывают войну и рост национализма, государственный аппарат и церковный клир коррумпированы, народные массы бунтуют, распространяются эпидемии, заявляет о себе анархизм и беззаконие, власть, стремясь усмирить волнения, обещает удовлетворить народные требования и не исполняет своих обещаний, неравное распределение богатства, обострение социальных противоречий и рост классовой ненависти, система распадается, огромные богатства переходят в руки предпринимателей, отличающихся невероятной бесчестностью» (Chaucer. Complete Works. By Student Outline Series Company. Boston, 1957, pp. 3-4)

лагерные мемуары согласились лагерники Серго и Марлен. Серго Виссарионович Ломинадзе, литературовед и поэт, был свидетелем самоубийства своего отца, партийца-оппозиционера, упомянутого на первой странице известной книги Конквеста «Большой террор». Серго мальчишкой оказался арестован вместе с матерью. Марлен Михайлович Кораллов, литературный критик, тоже побывал за колючей проволокой. Того и другого рецензента вызволила из неволи сталинская смерть. Бывшие зека<sup>21</sup> не сомневались: Толя пострадал за некое общество, но было ли оно антисталинским?

Скажем, мы в те же годы у себя в школе создали Общество по борьбе... с успеваемостью. Это было безрассудство отрочества, сопережить мотивы которого сейчас невозможно. Глухие годы сталинизма, у меня отец отверженный, без работы<sup>22</sup>, а я организую тайное общество и уже декларацию написал. Продолжай мы борьбу, пожалуй, нашлись бы dobroхоты донести о вредительской попытке подорвать сталинский курс в школьном образовании. Наше возрастное безумие остановила классная руководительница, вторая мать, понимавшая: ничего подрывать мы и не думали.

«Сталин воевать не умеет».

*Троцкий перед войной.*

Победа показала, умеет или не умеет. Мой небольшевистский Дед Вася, глава семьи, пережившей все три революции, военный коммунизм, чистки и коллективизацию, знал наших вождей с предреволюционных времен и выражался о них не всегда цензурно, однако о Сталине после войны умолк. Сталин отождествлялся с победой. Сталина славил как триумфатора. Гром победы раздавался, сталинской победы. Таково представление послевоенного времени. Можно это представление пересмотреть, но то будет представление уже другого времени. Если и были не умолкавшие, то когда? Согласно Святому Писанию, Савл стал Павлом, гонитель христиан превратился в проповедника христианской веры, и антисталинистами становились сталинисты особенно яростные. Среди ниспровергателей Сталина были и есть такие, как диссидент Владимир Буковский, о ком нельзя и подумать, что это бывшие сталинисты и ещё какие сталинисты!<sup>23</sup>

Сталинисты проявляли себя по-разному в разные времена. Серго Микоян – мы с ним были знакомы, однако я и представить себе не мог, о чем сообщили после его кончины. Оказывается, ещё в школе Серго создавал «тайную антисоветскую организацию» под названием «Четвёртый Рейх». Сообщить сообщили, но не рассказали, что за организация, в чем заключался антисоветизм сына одного из членов Советского Правительства. Не зародился ли у Серго замысел Рейха Четвертого, когда его отец, «сталинский нарком», ему рассказал, как Сталин поднимал тост за здоровье фюрера Третьего Рейха? В той привилегированной 175-й школе

<sup>21</sup> Произношение по Варламу Шаламову. Солженицынское «зеки» Шаламов считает ошибкой, одним из признаков недостаточного знания лагерного быта и языка. У Марголина – «Зэ-ка» (1952). В лагерной песне «Ванинский порт» – «зека», в мемуарах попавшего в лагерь разведчика Дмитрия Быстролетова «зека».

<sup>22</sup> Михаил Васильевич Урнов (1909–1994) – литературовед, переводчик, редактор, соавтор учебников по зарубежной литературе и редактированию. Работал во Всесоюзном Обществе культурных связей с зарубежными странами (ВОКС), был одним из руководителей Издательства Иностранной литературы (ИЛ), оказался исключён из Компартии и снят с работы «за утрату политической бдительности», в пору десталинизации обвинение признали необоснованным. До пенсии заведовал Кафедрой литературы в Московском Государственном Полиграфическом Институте (МГПИ). Его переводы (О. Генри и др.) уже свыше восьмидесяти лет переиздаются сами собой, без малейшего пособничества с нашей стороны.

<sup>23</sup> Согласно зарубежному историку диссидентского движения, Буковский оплакивал смерть Сталина как «потерю страшную и непоправимую». См. Joshua Rubinstein. Soviet Disidents. Their Struggle for Human Rights. Beacon Press, 1980, p. 2. Мне рассказывали старшие в нашей семье: после заключения между СССР и Германией договора о ненападении в московских кулуарных разговорах раздавались критические замечания в адрес руководства и персонально Сталина, это – конец 1930-х. Так называемый Пакт Молотова-Рибентропа у нас, как и на Западе, представлялся предательством евреев. Антисталинские пьесы драматурга-ленинградца Евгения Шварца «Голый король» (1934) «Тень» (1937–1940), «Кукольный город» (1938) и «Дракон» (1942–1944), по мнению моих старших родственников, – эхо оппозиции, выражение верности зиновьевскому Ленинграду.

учился мой волейбольный партнер «Додик». Его отец занимал ответственный пост, какой, мы не спрашивали, но Додик нам рассказывал: правительственные дети бравировали свободомыслием, неправительственные спрашивали, почему сынкам всё сходит с рук. Вокруг той школы и той организации вращается «Каменный мост» Александра Терехова, роман, вышедший в 2009 г. и получивший премию, но повествование усложнено и запутано, почти ничего я, к стыду своему, не понял. Остается неосвещенной история элитарной «республики ШКИД». Кто близко знал Серго, тем следовало бы установить, что у него был за антисоветизм, как сочетался с национал-социализмом. Раскаявшийся гитлеровский соратник Герман Раушнинг давно высказал ту мысль, что Сталин с Гитлером, каждый по-своему, вопреки международному революционному движению совершили национальную революцию<sup>24</sup>. Не исключено, юные основатели Четвертого Рейха играли в социализм сталинского пошиба, игра в нацизм и сошла им с рук.

Кому игра сходилась с рук, а кому – нет, это универсально, всюду есть существующие над законом, с них и спроса нет, им на жизненном пути «зеленые светофоры расставлены». Эту фразу из рассказа Солженицына «Случай на станции Кречетовка» повторял мой отец – ему все давалось нелегко. Рассказ косноязычен, прямо говоря, бездарен, но житейская достоверность в рассказе есть: одним дозволено, с прочих спрашивают по всей строгости. Об этом писал Генри Адамс, вспоминая, как дедушка, шестой Президент США, за ручку водил его в школу.

Без вины пострадал мой дворовый приятель из дома на Страстном бульваре. Родился он в год заключения Советско-Германского Пакта, и его родители, правоверные советские граждане, поспешили дать ему имя Адольф. Как же в послевоенные времена его презирали! Как били! Не помогло ему новое имя – Семен, для всей округи остался Адольфом. В последний раз я столкнулся с ним в нашем парадном на лестнице. У него было в кровь разбито лицо. «Как дела?» – вырвался у меня вопрос. «Как видишь» – ответил потерпевший Адольф. Больше мы не виделись. Имя его появилось в печати, он, очевидно, ради личной безопасности, приобщился к преступному миру, затем склонился к диссидентству – задолго до политического движения под соответствующим названием. В отличие от оберегаемых фрондеров, ему это с рук не сошло, сгинул без следа.

Послевоенное осуждение Сталина, пусть лишь подразумеваемое, мне представляется поистине немислимым. В ту пору мы с родителями летом жили в деревне под Москвой, моя мать, человек даже чрезмерно искренний, умела вызывать на откровенность, ей исповедовался прошедший фронт председатель колхоза, у которого мы снимали помещение. Ветеран рассказывал о пережитом, а мать записывала. Солдат изливал свою горечь, обличал военачальников, которые ставили людей ни во что. Записи сохранились – Сталин не упомянут. Мой отец, жертва сталинизма, при известии о кончине Сталина пытался заплакать. Жертвой отец был умеренной: лишился *всего-навсего* заметного положения и остался только без работы. Заплакать не заплакал, но пытался. Плакал, говорят, космический конструктор Королев, при Сталине побывавший в тюрьме. В нашем сознании со Сталиным были связаны понятия *террор и диктатура*, приметой правления Ивана Грозного нам служила опричнина, а с крушением советской системы и водружением постсоветской *олигархии*, перед нами замелькал калейдоскоп вдруг оживших исторических понятий, какие, казалось, нам уже не понадобятся. Капитализм есть капитализм, а наш социализм был социализмом и советская власть – советской?

Перед сном я читаю многотомную историю страны, выпущенную Политиздатом в 60-70-х годах, и засыпаю с мыслью о прочитанном: «Патриархальная вера в заступничество царя... Призывы к расправе с ненавистными боярами... Оказался отстранен от должности вице-губернатора, обвиненный в казнокрадстве и взяточничестве. Сторонник преобразований слыл бескорыстным человеком, но снискал нерасположенность многих вельмож, ненавидевших его,

<sup>24</sup> См. Hermann Rauschnig. The Revolution of Nihilism. Garden City, N. Y.: Garden City Publ. Co, 1942. p. 57.

проекты настолько расходились с интересами господствующего класса, что это обстоятельство послужило причиной его ареста, заключения в Петропавловскую крепость, где он и скончался... Примером паразитического ведения хозяйства являлись вотчины, которыми владела императорская фамилия. Свыше миллиона крестьян приносили дворцовому ведомству ежегодно сотни тысяч чистого дохода... Царскому дворцу подражали крупные помещики... За богачами тянулись помещики средней руки, выколачивавшие денежные средства из крепостной деревни, чтобы проматывать их в столицах и во время заграничных путешествий... Вельможи не стеснялись прибегать к средствам сомнительной честности... Генерал-прокурор Сената, используя свое должностное положение, добился передачи ему винного откупа, и купцы должны были раскошелиться... Из-за произвола [властей и высших сословий] большинство народа обречено на нищету, истязание и несправедливость, сельское хозяйство дает меньше, чем может и должно производить, промышленность, торговля и города развиваются медленно, а страна остается экономически и культурно отсталой... Расходный бюджет государства поглощался главным образом затратами на императорский двор, армию и бюрократию... Крестьяне по-прежнему веровали в доброго батюшку царя...»<sup>25</sup> Так из тома в том, от главы к главе, из одной эпохи в другую. Знакомо?

Чувств современников разделить неспособны живущие в другое время. Твоя эпоха объемлет тебя всесторонне, потомство судит выборочно, сталинизм осуждают, а веру в Сталина приписывают слепоте. Мой отец гонения, на него обрушившиеся, относил на счет всевластной партийно-бюрократической среды. Нельзя было не думать без уважительного страха о Сталине, от него зависела наша жизнь. И кто этого чувства не испытал, того не переубедишь. Если же кто-то был настроен и тем более высказывался антисталински, то ещё надо выяснить, кто и почему. *Плохо о Сталине высказываются провокаторы*, такое предостережение я со школьных лет слышал от старших. Когда же при Хрущеве узнали об антисталинских намеках во фронтовом письме Солженицына, мне в голову сразу пришло: «Провокатор!» Лишь провокатор, «подсадная утка», доносчик, либо безумец способен был во время войны рассуждать об ошибках верховного командования. Мы от дяди получали письма с фронта, каждое послание прошито белой цензурной ниточкой, значит, читано и прочитано в строках и между строк.

У переживших войну *при Сталине*, с его именем в сознании, не могло быть сомнений в сталинской исторической правоте и мощи, масштабе явления, размерах фигуры, и с той же фигурой, мы знаем, неразрывны злодеяния и кровь. В этом правда нашего времени, но к неразрывности пока не прикоснулись. Не удивительно: такова задача, перед которой, думая создать «Историю Петра», остановился Пушкин. Творец «Полтавы» и «Медного всадника» не знал, что и думать, как оправдать великие петровские деяния, неотделимые от преступлений.

Ни одна из цивилизованных стран в процессе становления не обошлась без того, что потом называли *преступлениями против человечества*. Некоторые народы успели раньше других пережить незаконное, *героическое время*, пору *мироустройства*, следующую, согласно античной цепи бытия, после хаоса и *сотворения мира*. Раньше или позже, но все совершали действия, которые задним числом называли преступными – повсеместная, неизбежная и до сих пор не выплаченная цена цивилизованности. Кто невозвратный долг выплачивает, делают это полусознательно или вовсе не помнят прошлого, поучая других законности и соблюдению прав личности.

Америка демократизировалась в течение двухсот лет. Началось на берегу Атлантического океана с пасторальной утопии третьего по счету президента, Джефферсона. Шестой президент, дед Генри Адамса, Джон Квинси Адамс, образованнейший из президентов, «Энеиду» целиком, от начала до конца перевел, но был далек от интересов большинства, на второй срок

<sup>25</sup> См. «История СССР с древнейших времен до наших дней в двенадцати томах». Том третий. Главный редактор Б. А. Рыбаков. Москва: «Наука», 1967, С. 356-358, 553, том четвертый, С. 243, 247.



его и не переизбрали. Людскому множеству жизненное пространство и средства для существования предоставил его соперник, седьмой президент, генерал Джексон, наделенный прозвищем Крепкий Сук; он, предвосхищая Брукса Адамса, затеял «войну с банками», позволил теснить индейцев, при нем осваивали Дикий Запад и Тихоокеанское побережье, чего королевская Англия колонистам-демократам не разрешала и на что не решались первые президенты заокеанских территорий, ставших независимым федеральным государством Соединенные Штаты Америки. С президентом Грантом, тоже генералом, героем Гражданской войны, наступило время коррупционных скандалов – «век позолоты» (по Марку Твену). Генри Адамс, внук гуманнейшего, «односрочного» президента, стал возмущаться повальным взяточничеством, а для обыкновенных людей подкуп являлся единственным способом пробиться и устроить сносный быт. А баловень элиты, пользуясь готовым, чувствовал себя беспорочным, словно деньги сами собой оказались в кошельке у его деда, бостонского богача, обеспечившего благосостояние Адамсов<sup>26</sup>. Знакомо? Мне взгляд элитарного героя на существование людского множества напоминает эпизод советских времен. У Пушкинской площади, из дома, населенным номенклатурными работниками, в гастроном спустился ответственный товарищ и с изумлением наблюдал за очередью, а люди набивали сумки продуктами, что ни «выбросят». «Зачем столько набирать?» – выразил удивление ответственный товарищ, вероятно, впервые попавший в магазин. Очередь взглянула на него, словно он спустился с небес. У меня в памяти взаимно-недоуменные взгляды: наивность баловня судьбы и угрюмость борющихся за существование.

История повторяется, давая урок за уроком неразрывности добра и зла. В какой главе мировой истории, в каком историческом романе из любой эпохи нет сказанных так или иначе всё тех же слов: «Ужасный и великий век, один из тех переломных и эпохальных периодов, когда добро и зло нераздельны и заявляют о себе с невероятной силой и явственностью даже в одной и той же личности»<sup>27</sup>. Где и когда бывало иначе? Именно так – нераздельно, «жестокая имманентность», говоря языком романтиков начала Девятнадцатого века. Не та или другая сторона, нет, – «этапы большого пути», одно и то же явление в развитии: *революция-гражданская-война-термидорианская-контрреволюция-реставрация*. В жизни человека *молодость-зрелость-старение-смерть*, но один угасает тихо, другой – мучительно, всё тот же человек, не кто-то другой. Так рассматривать историю не склонны, хотя древние, не говоря о Гегеле, проводили аналогии между движением истории и развитием организма. Жизнь живет протестом, по выражению Герцена, то есть, согласно Гегелю, противоречиями, но живет целиком. Величайшие умы, признавая неизбежность жертв, останавливались перед ценой достижений не в силах постичь неразрывную связь. Однако в истории *бы* не бывает. Континента, колонизируемого по-другому, не стирая с лица земли целые цивилизации, никто не видал – за исключением российских историков, завоевание называющих освоением, будто не было ни «рубки леса», то есть разрушения уклада жизни кавказцев, в чем участвовали великие русские

<sup>26</sup> Автобиография Генри Адамса содержит упоминание «крупнейшего в Бостоне состояния Питера Брукса и его щедрых пожертвований». Историк Густав Майер, один из так называемых «разгребателей грязи», указывает, что кораблевладельцам, основателям финансовых династий, источником доходов служил захват судов, идущих под чужим флагом, это называлось каперством, от кареп(гол.) – разбой. В свое время добычей каперов едва не стал корабль, на котором отправлялось в Англию российское Великое Посольство, что упомянуто в пушкинской «Истории Петра». Нажился ли Питер Брукс на морской торговле, которая являлась узаконенным пиратством? Документы преступного морского промысла отсутствуют, поэтому деда Генри Адамса историк определенно причисляет к предпринимателям, которых «ослепляла возможность ценой опаснейшего риска быстро обогатиться. Обветшалые корабли, наскоро залатанные, снаряжались и отправлялись в плавание с расчетом на большую добычу. Ничуть не смущало, что одна за другой команды, собранные из отчаянных сорвиголов, становились жертвами безумной погони за выгодой» См. Gustavus Myers. History of the Great American Fortunes (1907). New York: Random House, 1936, pp. 60-61. Так что грабили или не грабили, но чужими жизнями рисковали.

<sup>27</sup> Из предисловия Чарльза Кингсли к его историческому роману «Ипатия. Давние враги в новом обличье» (1853). Этот роман – попытка воскресить Александрийские времена, когда всё родилось и всё погибло. Стремясь обрести универсальное знание, мы платим подати той эпохе.

писатели (и замечательно рубку описали), не проводил там же, на Кавказе герой Отечественной Войны, генерал Ермолов тактики выжженной земли, на Дальнем Востоке не устраивал массовых потоплений Муравьев, получивший прозвание Амурский – в Амуре тысячами топил туземцев, в Азии не совершали кровавых демаршей ни Перовский, ни Кауфман, на Аляске наши «промышленники» не уничтожали целиком местные непокорные племена.

Историки говорят, что россияне испокон века жили общиной, так сказать, демократически. Но Вселенские Соборы, называясь «Всеобщими», удовлетворяли интересы верхушки, крестьянство же, если и допускали, то не слушали. Не существовало и социализма, кроме нашего, а был ли наш социализм социализмом и был ли советским «союз нерушимый» – «ба-а-альшой секрет» (цитирую ещё одну песню моих друзей)<sup>28</sup>.

Петровские указы, втолкованные кнутом, по выражению Пушкина, явились той силою, которой, по словам поэта, «двинулась земля», наша земля. Думать, будто двухсотлетнее отставание от развития передовых стран Запада можно было наверстать, не изживая варварство варварскими методами, как говорил Ленин, значит, не учитывать уроков истории. Наверстывать и ненужно было? Что ж, будем по-прежнему за отставание расплачиваться. Слышу возражение: «Какое отставание?!» Конечно, космос покорили, однако на земной тверди не подняли уровень жизни над бездорожьем и бедностью.

Корсиканский выскочка Наполеоне Буонапарте, обладая воинским дарованием, захватив власть, повернул к реакции, стал императором и завоевателем, но от начала до конца своей метеорической карьеры знаменовал революцию. Под обаянием Наполеона оставались и Пушкин и Лермонтов, в нем видели личность, взорвавшую косный мировой порядок. Но угнездившихся в системе устраивал *старый порядок* с незначительными поправками: развивались бы постепенно, органически. А другие страны, надо думать, с умилением наблюдали, будто не сделала неустроенность Землю Русскую беззащитной перед нашествием восточных орд. Взяли бы нас и с Запада – шведский король после поражения под Полтавой требовал вернуть ему северные земли, проходила бы наша граница даже не через Смоленск, а прямо у стен Московского Кремля. Первая книга в России была отпечатана в год рождения Шекспира, усердного читателя, черпавшего сюжеты для своих пьес из печатной продукции, выпускаемой уже более двухсот лет. Преобразовавший науку Ньютон, стоя, по его собственному выраже-

<sup>28</sup> Оказались озадачены и сторонние наблюдатели-советологи. «Если поначалу в Соединенных Штатах в обсуждении сталинизма преобладали добротные журнальные обзоры и не столь добротные туристические впечатления (от «страны, живущей по плану» или рассказы о том, «как я уцелел в советских условиях»), то установившееся после Второй мировой войны направление профессиональных исследований Сталинской эпохи определялось интересом к тоталитарной модели. В пределах этого направления исследователи сосредотачивались на государственном контроле, подчинившем себе все сферы духовной жизни и практической деятельности. [...] С другой стороны, нельзя было отрицать, что Советский Союз оказался способен отразить нацистское нашествие в тотальной войне, которая потребовала от населения огромных жертв, и в то же время ни до, ни после войны не возникло ничего похожего на организованное сопротивление жестокому и незаконному режиму, который можно сравнивать с тем же нацизмом. Пытаясь осмыслить и понять подобные аномалии, а также очевидную устойчивость Советского Союза, ученые, само собой, принимали во внимание репрессии, к которым прибегал режим. Но в этом решающем пункте обнаруживалась всё возрастающая уязвимость таких объяснений, поскольку со смертью Сталина репрессии полностью не прекратились, однако неустойчивости не проявилось. Таким образом, работа ученых, несмотря на тщательность их исследований, зашла в тупик». Это – суждения Стивена Коткина, американского постсоветского русиста-советолога, сына российских эмигрантов, выпустившего два из трех томов биографии Сталина и книгу о сталинизме. См. Stephen Kotkin. *Magnet Mountain. Stalinism as a civilization*. University of California at Berkeley, 1995, pp. 2-3. Стивен Коткин увидел свет в ту пору, когда живший и работавший в Америке Георгий Вернадский выпустил переработанное издание своей «Истории России», в котором проводил идею устойчивости и эффективности советской системы. Для Коткина, начавшего научную деятельность в 80-х годах, устойчивость стала исходным историческим фактом, и он смог воспользоваться всеми преимуществами постсоветского времени: прежде всего открытием архивов и возможностью широкого общения с российскими историками. Написанные в полемике с ним исследования американских историков выглядят анахронизмами в пределах «тоталитарной модели». Коткин принимает во внимание репрессии, но картина сталинской эпохи выглядит у него совершенно иначе. Когда Коткину приходится отвечать на вопросы из старого арсенала, скажем, о психотравмах, полученных Сосо Джугашвили в детстве, или о признаках паранойи, появившихся у вождя в преклонные годы, он, биограф, несравненно осведомленный, не избегает подобных вопросов, но предупреждает, что его ответ потребовал бы целой лекции, ибо он исходит из других посылок, у него другие исходные пункты: перед ним не аномалия, а требующее изучения и оценки гигантское явление.

нию, на плечах предшественников-гигантов, был наследником западноевропейского прогресса и современником «тишайшего» царя Алексея Михайловича. Приглашенный советчиком ко двору Екатерины II просветитель Дидро предлагал отменить крепостную неволю (у французов, по Сказкину, отмененную постепенно в XII-XIV вв.), и отказаться от единовластия (у них уже свергнутого). Но в нашей, растянувшаяся на три континента, стране кроме самодержавия другой власти не мыслили. Многие и сейчас не мыслят, между тем неизбежное и неукоснительное самодержавие (как и однопартийное коммунистическое руководство) доуправлялось в конце концов до государственной катастрофы.

Нельзя было иначе? Нельзя. Однако ответственными получились и плюсы и минусы, великие достижения и вечный дефицит. Добиваться добивались, достигать достигали, но не добились и не достигли того, чего таким путем добиться невозможно. В конце концов не выдержали нажима извне и внутреннего беспорядка. Как в детской сказке: построенное из камней устояло, сляпанное из соломы и прутьев – разлетелось.

Позвольте, приведу выдержку из «Доклада Совета съездов о мерах к развитию производительных сил России» 1915-го года: «В царской России на каждого рабочего, занятого в крупной промышленности, приходилось в канун империалистической войны не больше 0,9 НР (Horse Power) механической энергии. В то же время для Германии этот коэффициент равнялся 3,9 НР, для Англии 3,6 НР, Франции – 2,8 НР. Целые отрасли машиностроения, в первую очередь производящие машины для производства машин, находились на самой низкой стадии развития. Станкостроение, например, удовлетворяло потребности страны едва ли на 30 %. Подводя итоги развитию машиностроения уже накануне краха всей системы капиталистического производства России, орган объединенных представителей русской промышленности вынужден был констатировать, что кроме России нет такой страны в Западной Европе, которой машинное производство обеспечивало бы внутренний спрос лишь на 50 %». Знакомо?

К этим документальным сведениям разрешите добавить свои детские, да, детские впечатления от предметов, которые я видел у деда-инженера, – арсенал отверток, клещей и прочих инструментов. На всех орудиях труда, накопленных и хранимых двумя поколениями русских мастеровых, названия были иностранными, что меня удивляло, но дед и прадед, очевидно, знали цену добротному инструментарию<sup>29</sup>. Ту же добротность я узнавал по мере накопления навыков и практических потребностей. Например, для разрезания бумаги до сих пор пользуюсь немецкими ножницами, что достались мне от деда, а он их из Германии привез в 1911-м году. Режут, как новенькие. Среди инструментов завораживал меня ослепительный предмет, который в руки мне не давали, называл я его кинжалом. Дед поправил меня: «Это охотничий нож». После паузы добавил: «Шведский». Ещё пауза и ещё одно пояснение: «Лучшей в мире стали».

В России в течение веков неоткуда было взять рабочей силы, кроме подъяремных землелашцев, при новой власти, не обложив данью тех же крестьян, нельзя было иначе кормить пролетариев, отсюда и результат: великая, наделенная богатейшими ресурсами держава служила полуколонией – об этом я школьником читал в *Сочинениях* Сталина, об этом мне напо-

<sup>29</sup> Борис Никитич Воробьев (1882–1965) – авиационный инженер и летописец воздухоплавания, из рабочих, участник Обуховской обороны и Революции 1905 года, инженерное образование получил в Политехническом училище Констанца, работал на первом русском авиационном заводе «Российского Товарищества воздухоплавания», редактировал ранние воздухоплавательные журналы, тогда же печатал Циолковского, состоял в переписке и лично познакомился с ним. Был Ответственным секретарем Общества «Аэро-Арктика». Вел курс истории воздухоплавания в Московском Авиационном институте (МАИ), был объявлен лжеучёным-космополитом и отстранен от преподавания, привлекли его в Институте истории естествознания и техники к работе над Собранием сочинений Циолковского, чем он и занимался до пенсии. Биографию Циолковского он выпустил в серии ЖЗЛ в 1940 г., его посмертно вышедшая книга – «Россия на взлете. У истоков отечественного воздухоплавания, авиации и космонавтики. Статьи и воспоминания» (Изд-во им. Сабашниковых, 2015). О нем см. кн. А. В. Фирсов. «Борис Никитич Воробьев – создатель первого авиационного мотора АО «Мотор СИЧ», Запорожье: Издание компании «Мотор-Сич», 2016.

минал приехавший в ИМЛИ профессор Симмонс, один из «отцов» советологии и русистики, агент империализма, но не русофоб. Отделаться от внешней зависимости удалось, оградившись железным занавесом (недоступность зарубежной печати я чувствовал, это мешало и работе, и повседневному обиходу).

Всё, всё то же самое, солома и прутьи всюду мешают развитию, секрет успеха – в пропорции помех. Первому великому русскому ученому Ломоносову, следующего за Ньютоном поколения, мешала, а с тех пор и до сего дня мешает каждому великому русскому ученому обломовская инертность, ставшая привычкой неделания, покровительствует обломовщине традиционный родной бюрократизм. Символ – участь «Крепыша», который был прозван *королем русских рысаков*.



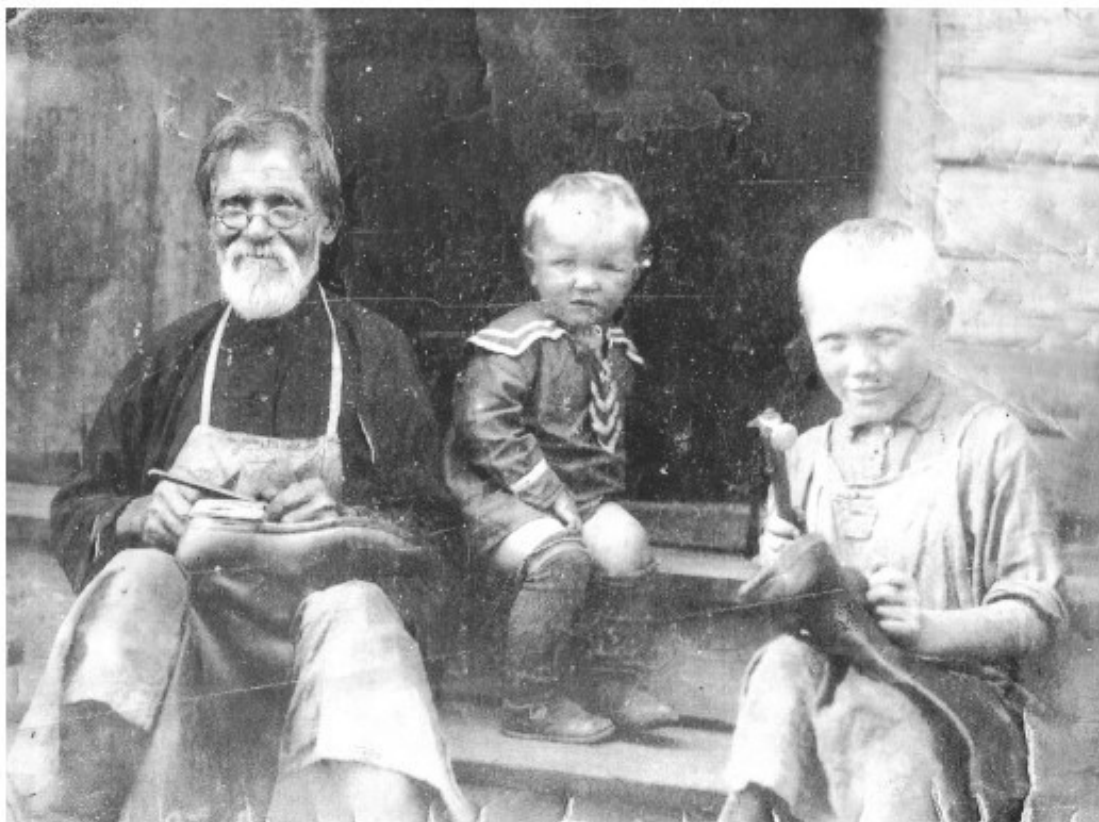
Тузовы и Урновы (слева направо) сидят Петр Алексеевич Тузов и Ефим Васильевич Урнов, стоят молодые Тузовы, впереди у них – раскулачивание.

*«– Мы были кулаки? – спросил Сашка.*

*– Богатыми были Тузовы, а Урновы с ними породнились» (т. I, стр. 48).*



Урновы: Михаил, Ефим Васильевич, Вера, Прасковья Семеновна, Анастасия Петровна (рожд. Тузова), Василий Ефимович, Константин.



Наш родич, сапожник из села Корневского с внуками.  
Их молотки достались мне по наследству.





Прабабушка Прасковья Семеновна Урнова.



Баба Настя у печки, центрального отопления ещё не провели.



Дружеский шарж моей матери отражает важную для всей семьи сторону её жизни.



Урновы на Б. Якиманке, виден киот – уже без икон, «пока без Ленина» (I, 105–106).



Дед Вася в 1930-е годы – обличает соседей, таскающих у нас дрова. Шарж набросан моей матерью.



Дед Вася в 1914 году.



Воробьевы: Михаил, Никита Матвеевич, Александр, Борис, Анна, Татьяна. На снимке нет матери семейства, Ирины Федоровны, рожд. Марковой, умерла родами в 1891 году.



Прадед Никита в своей домашней мастерской. Поселок Ивановское в г. Отрадном под Петроградом.



Борис Воробьев – токарь минной мастерской Обуховского завода.



Машинисты депо станции Александровская Николаевской ж.д. Конец 1890-х годов. Никита Матвеевич Воробьев в первом ряду крайний справа, ладонь спрятана за лацкан – поранена при крушении.



Дом Воробьевых в Отрадном. Во время войны сгорел. Как горел, с другого берега Невы видел воевавший там Дядя Юра.



Инженер Воробьев, его семья: жена М. М. Френкель-Воробьева и дочь (И. Б. Воробьева, моя мать).





Мария Максимовна Френкель-Воробьева, моя бабушка.

*«... Скончалась до моего рождения, но, судя по фотографиям, я напоминаю её неправославной внешностью» (I, 65)*



Семья Френкелей, фабриканты, занимались производством каменных плит. Вильна, конец 1890-х годов.



В журнале «Современный мир»

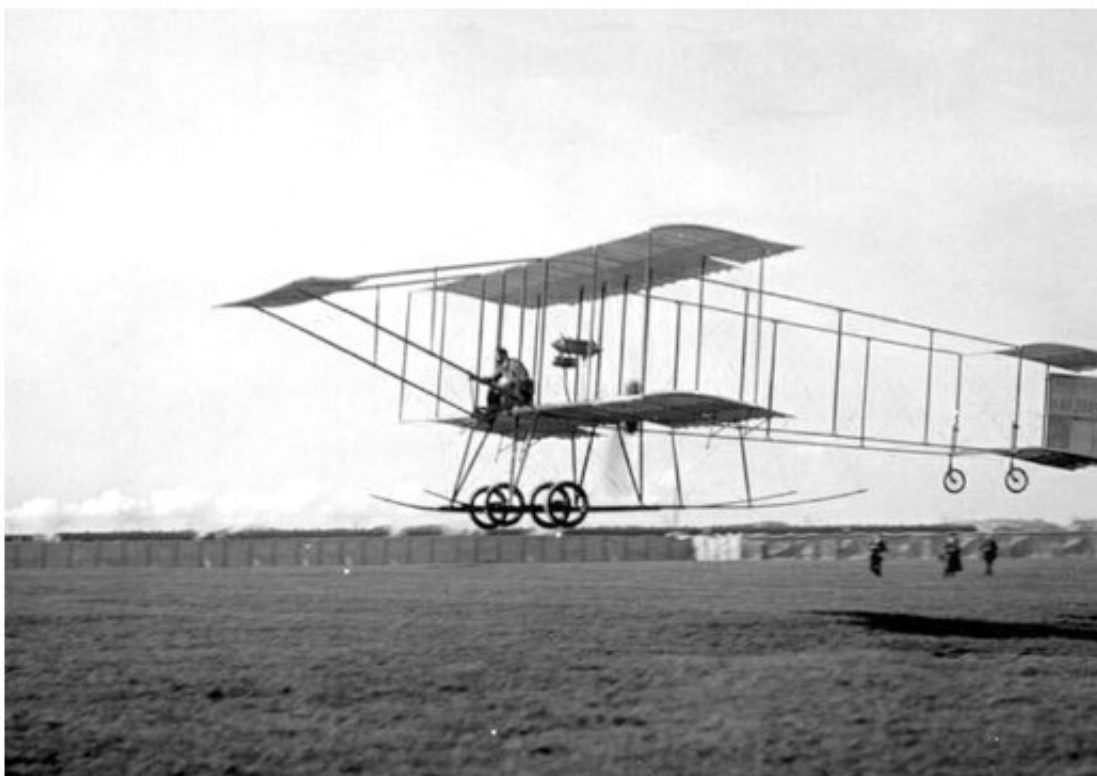
Б. Н. Воробьев опубликовал обзор «Воздухоплавание в наше время», где впервые привел слова К. Э. Циолковского:

«Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство».



Дед Борис на службе  
Воздушного флота, его  
журнал «Мотор» и  
автомобиль.





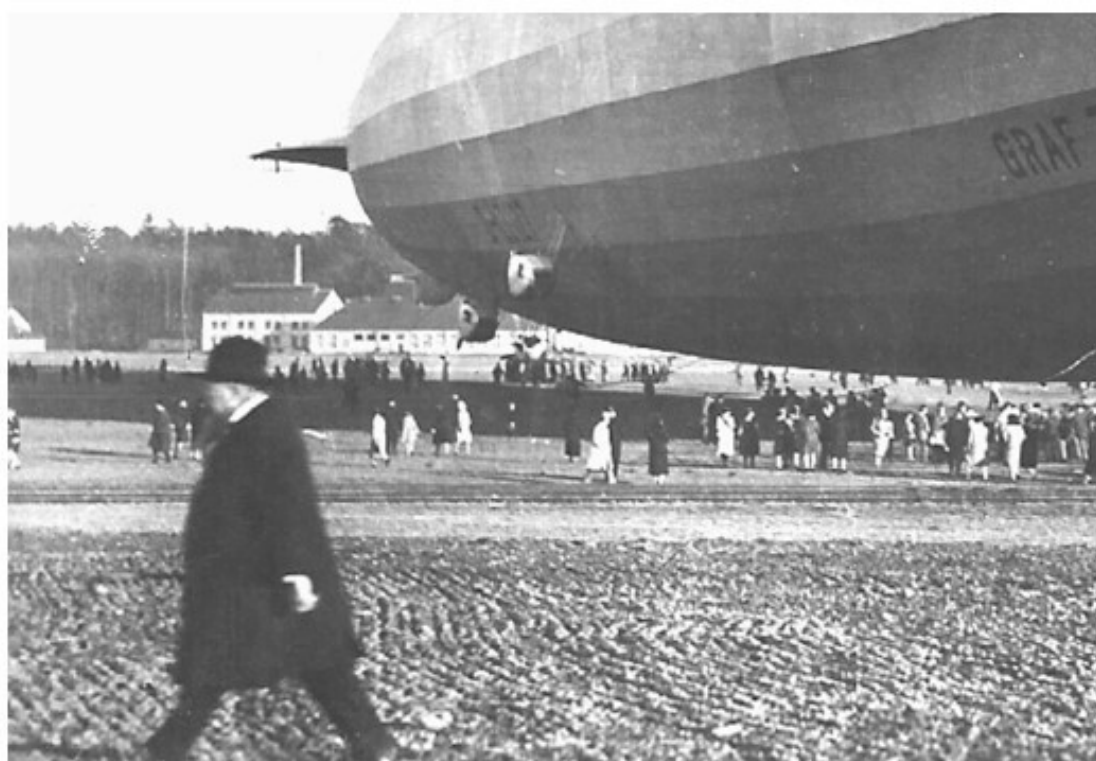
Самолет «Россия-А». Инженеры-конструкторы Б. Н. Воробьев, С. В. Дыбчинский и Н. В. Ребиков. Построен на заводе первого Российского товарищества воздухоплавания, основанного С.С. Щетининым. Пилотировали самолет М. А. Абрамович и В.А. Лебедев.



Дед Борис берет интервью у Сикорского, фотографировал Дядя Миша, 1913 г. Интервью было опубликовано в журнале «Мотор».



Фотография из привезенного Дедом Борисом немецкого журнала.



Дед Борис прибыл на дирижабле в Германию для осмотра авиазаводов, 1923.





Разгон полицией Обуховской обороны.



Рабочий марксистский кружок.

В центре руководитель  
Александр Васильевич Шотман,  
слева от него – Б. Н. Воробьев.

Рабочие у здания Александровской бумажной фабрики, где работал  
Никита Матвеевич Воробьев.





Дед Вася встречает Керенского на Брянском (Белорусском) вокзале в Москве, март 1917 г.

*«...Мог бы, как он говорил, стать министром: в очередь с Керенским с той же трибуны выступал» (I, 68).*



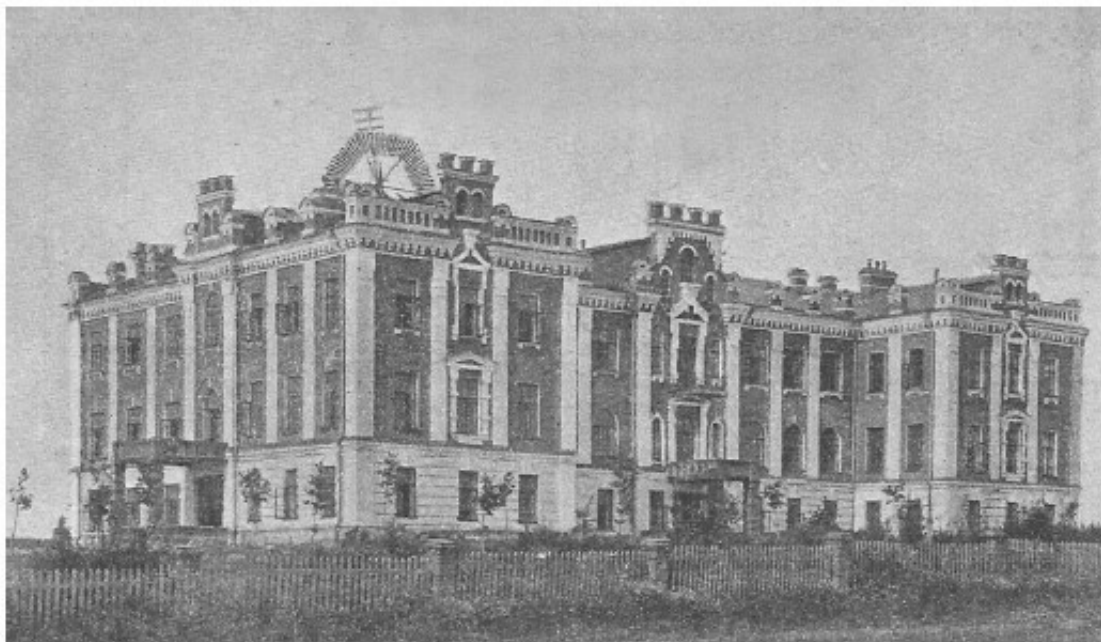
Михаил Никитич Воробьев, инженер-пиротехник, унтер-офицер, в 1917 г. начальник государственного гаража, выполнял поручение Временного Правительства доставить арестованную семью Романовых из Царского Села на станцию Александровскую Варшавской железной дороги.



Б. Н. Воробьев выступает на открытии обелиска К. Э. Циолковскому. Калуга, 1936.



Состав Московского Дома ученых, 1931. В первом ряду, в центре – инициатор создания и председатель этого академического культурно-просветительского учреждения Мария Федоровна Андреева, рядом с ней академик Чаплыгин. Б. Н. Воробьев во втором ряду (на нем белый китель).



Дровнинская Церковно-Учительская школа, в которой преподавали Дед Вася и Тетя Женя (Е. Ф. Тузова). *«Советую всем крестьянам стараться как можно более строить школ и обучать детей».* Из письма Тузова Успенскому» (I, 66)



Группа советских учителей, награжденных орденами. Вручал Н. М. Шверник. Крайняя справа в первом ряду – Е.Ф. Тузова («Тётя Женя»).





Тетя Женя ведет урок, Москва, 50-е годы.

*«...Окончила два пединститута, в Ленинграде и в Москве, преподавала в сельских школах, в городе Зубцове, в Магнитогорске, заведовала учебной частью в Школе рабочей молодежи Ленинского района Москвы» (I, 44)*

Почему не обратиться к лошадям, если Чернышевский, определяя новые настроения в текущей литературе, не нашел лучшего примера, чем неожиданные лошадиные взбрыкивания. Серый феномен-гигант должен бежать на побитие рекорда, а в конторе ипподрома говорят: «Подсыпь в повороте песочка, а не то касса затрещит» (свидетельство коннозаводчика Бутовича). При советах Грог 2-й весь сезон скакал беспронигрышно, а к закрытию захромал, жокеев вызвали и велят: «Попридержите своих лошадей, надо, чтобы у нас остался непобитым фаворит» (эту скачку фальшпэйсом я видел, а закулисную историю слышал от жокеев). Всё бывает и на Западе, но там – как? Если хотите, чтобы разыграли по-вашему, внесите сумму больше призовых. А сколько это – призовые? И не заикайтесь.

Сталинизм остается игрушкой политических страстей – не предметом исторического изучения, какое сейчас намечается на Западе, где говорят о *сталинской цивилизации*. У нас Сталина оценивают в сталинских терминах как величайшего вождя, либо, наоборот, в духе диссидентства называют преступником, по-троцкистски низводят до *аппаратной посредственности*, что началось с перестройкой и гласностью, возгласившей, среди прочего, и возрождение Троцкого. Возрождали осторожно, не совсем гласно, ползком, подспудно. Автор антисталинских «Детей Арбата» Анатолий Рыбаков обозвал меня (в печати и по телевидению) мошенником за то, что я указал на идейный источник его романа – Троцкого. Судя по выражению лица, писатель был уверен... в своей правоте? Нет, думаю, в безнаказанности: его роман уже называли бессмертным.

Сталин такая же «аппаратная посредственность», каким «капралом-коротышкой» считался Наполеон. Кто даже «из бывших», так сказать, «любили Папулю», и те дрожали перед властью и силой. «Папулей» называл Сталина бывший помещик и коннозаводчик Владимир Дмитриевич Метальников – о нём вспоминает драматург Евгений Шварц, рисуя облик одного «из бывших». С детства зная иностранные языки, Владимир Дмитриевич, сделавший занятия досуга средством существования, стал известен как переводчик обошедшей советские театры пьесы Пристли «Опасный поворот», тема: *правда глаза колет, вся правда неприемлема всем*. Для домашнего употребления переводил Владимир Дмитриевич и с французского. «Перевёл из любви к Папуле», – так он выразился, давая мне отпечатанную на машинке язвительную главу мемуаров генерала де Голля о встрече со Сталиным: первая читанная мной декларация антисталинизма. Но антисталинский текст переводчик распространял не раньше, чем Папули не стало<sup>30</sup>.

«Сам не знаю, можно ли верить тому,  
что сохранила память».

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова внука».

Довоенные годы мое поколение помнит, сознательно – мы дети военных лет. Невзгоды моей семьи невелики в сравнении с пережитым миллионами советских людей. Что испытала за войну семья моей жены, малолетнего узника нацизма, с тем мои тяготы не могу и сравнивать. Нашей семье судьба как бы намекала, чтобы не забывались, существовали мы со всеми вместе под дамокловым мечем, меч нависал, но никому из нас головы не отсек. Только работы лишился отец, один дед в чистку – не за решетку попал, другой – просто в космополиты. Из родственников матери были погибшие в Ленинградскую блокаду, сама она осталась всего лишь без диплома: бомба попала в училище, которое мать успела закончить, но не успела забрать необходимый документ – сгорел, всю свою дальнейшую жизнь пыталась и не могла моя мать

<sup>30</sup> Антисталинизм Шарля де Голля был настолько умеренным, что французского лидера упрекали в просоветской политике, ведь он был противником холодной войны, провозглашенной Черчиллем и Труменом. Во фрагменте мемуаров, переведенном Метальниковым, о политике речь почти не шла, но сквозила ирония в описании грозно-торжественной кремлевской обстановки. Политических выпадов, насколько я помню, не было, однако по тем временам достаточно было насмешливой интонации в рассказе о том, как Сталин «пил и ел», чтобы текст показался поношением вождя.

доказать, что имеет специальное образование, брать на работу её брали, но большей частью ремесленную. Со стороны отца были раскулаченные, были павшие на фронте, но отец мобилизован не был. Почему мой папа не на войне, я себя в детстве не спрашивал. В зрелые годы узнал: отец явился в военкомат, ему выдали бронь с условием, что его призовут в случае необходимости. В письмах матери читаю: «Если мужа призовут...» Не призвали.

Я за войну не испытал и вовсе ничего, кроме отрыва от Москвы. Тосковал по особому московскому запаху, совсем не благоуханному, но – дитя асфальта: гарь бензина на улице и вонь кошачьей мочи в нашем подъезде столь же дороги и незаменимы, как «звезда полей» для уроженца сельского. Однажды мы с матерью в Подмоскovie попали под бомбежку, в Москве прятались от налетов в убежище, выходили под утро: всё небо в заградительных аэростатах. Эвакуировались по Волге на барже, трюм был полон людьми, на переборке возникла фигура в белом халате, врач, предупредил: «В соседнем отсеке размещены больные...», – перечислил остро-заразные и смертельно опасные инфекции.

Магнитогорский театр, где стала работать мать, наполовину был занят госпиталем, зрительный зал на генеральных репетициях заполнялся ранеными. Головы забинтованы, на костылях, хромые, безногие, безрукие, однорукие, одноглазые смотрят вместе с нами, первоклассниками, «Хрустальный башмачок» или «Много шума из ничего» с песнями Тихона Хренникова: «Ночь листвою чуть колышет... С треском лопаются бочки... Хо-хо-хо...». Ставили и «Нашествие» Леонида Леонова. Смотрел из кулисы, диалогов не понимал, всё же чувствовал напряженность: драма предательства во время войны.

«Современником можно назвать того, кто вполне осознает происходящее в данный момент».

*Карл Юнг. «Современный человек в поисках души».*

Современники, конечно, бывают разные. Например, Джордж Оруэлл высказывался, не взирая на обстоятельства. Во время войны возмущался британской цензурой, вычеркнувшей из его статьи о бомбежках Лондона абзац о расправе над немецким летчиком, который был сбит, с парашютом приземлился на английской земле, а лондонцы, которых он бомбил, самосудом, так сказать, нарушили его личные права. Когда советская армия сражалась под Сталинградом, автору ещё неопубликованного антисоветского «Скотного двора», для которого он все никак не мог найти издателя, важнее всего было предостеречь от иллюзий относительно российского коммунизма. Ему напоминали, что советские солдаты сражаются и за Англию, но Оруэлла попрежнему заботило нарушение прав личности (об этом я докладывал в Югославии на ПЕН Клубе в 1984-м году – отмечали юбилей ещё одной антикоммунистической книги Оруэлла, которая им и была названа «Девятьсот восемьдесят четвертый», а мы его наблюдениям и предсказаниям подводили итоги). Испытывая лишения военных времен, Оруэлл перечислял свои предпочтения и пристрастия, в том числе, какого сорта табак предпочитает курить, и это в то время, когда Михаил Бахтин, за неимением папиросной бумаги, извёл собственную рукопись на самокрутки с махоркой.

Даже незаурядные люди ранга Оруэлла не берут выше обывательского комфорта, всё сводится к желанию выпить кофе и покурить, без этого жизнь не в удовольствие, а без удовольствия существование теряет смысл. Это было описано Герценом, наблюдавшим подъем филистерства среди расстреливаемой бунтующей бедноты.

Оруэлл видел в своей стране горе и нищету, о чем писал, иногда добиваясь диккенсовской выразительности, однако им написанное и его самого не замечали до тех пор, пока не появилась его антикоммунистическая притча, и по убеждениям социалист пробился к славе при поддержке капитала.

«Магнитогорск – микрокосм Советского Союза».

Стивен Коткин. *Гора Магнитная. Сталинизм как вид цивилизации.*  
Университет Калифорнии. Беркли, 1995.

Магнитогорский Металлургический комбинат предлагал матери стать *Главным художником* после того, как она оформила выставку «Магнитка – фронту». Но мать была занята в местном театре и вела рисование в ремесленном училище при заводе. Брала меня с собой, проходили через заводской цех, видел я ребят старше меня, каких избегал на улице: один бритвой срезал у меня с пальто все пуговицы, но его во время мать перехватила, накормила, он вернул пуговицы, а мать пришила их обратно.

У станков ребята стояли на перевернутых ящиках, их отцы воевали, у многих отцов уже не было.

И у дикой Магнитной горы  
Под высоты просторных небес  
Мы построим под светоч зари  
И мартены, и домны, и ЦЭС.

Александр Ворошилов (1931).

*Я тоже сочинил поэму:* на наших глазах воздвигалась Шестая домна. Рефрен: «Всё для фронта, всё для побед». *Побед* рифмовалось с «Таков у нас обет». Кому ни читал, слышали «обед» и протестовали против гастрономического мотива, но другой рифмы найти я не мог, так и «опубликовал» самодельно, в единственном экземпляре со своими иллюстрациями. Воспел я домну как «гигантский стальной рукомойник»: умываясь утром, видел из окна заводские «рукомойники», возвышавшиеся рядом с нами. На горизонте Уральский хребет, вершины гор зимой накрывались белыми шапками, но если над городом выпадал снег, то белая пелена на другой день становилась черной от сажи из «рукомойников».

Все опасности, невзгоды, уж не говоря о неудобствах, воспринимались без ропота: война! Не помню, чтобы из взрослых кто-нибудь болел. У меня было четыре воспаления легких. Переливали мне кровь (взяли от отца). По телу высыпали язвы под коркой. Эвакуированный московский врач рассмотрел в лупу мои волдыри и определил: *Streptoderma Bulbsa*. Просто говоря, лишай. Мне так и говорили: «Мальчик, у тебя лишай». Я возражал: *стрептодермия буллёза!* Чтобы меня подкрепить, мать сдала в спецраспределитель семейную ценность дореволюционных времен, длинную и увесистую золотую цепь, которая не имела практического употребления, кроме того, что на цепи я держал своего игрушечного слона, слон соединял меня с Москвой: в Московский Зоопарк ходили мы к слонам. Цепи было мне жаль, зато нам на «Виллисе» привезли продуктов, и я съел банку жира. Короста исчезла, следы язв оставались заметны до послешкольных лет.

Видели мы, будто при вспышках, теневую жизнь времен войны. В детском саду нас на прогулку водили в парк у горы Атач. В густых кустах таились картежники, за ними охотилась конная милиция, и бежали в рассыпную оборванцы. Одного поймали и допрашивали. Всей детской группой мы стояли совсем близко. Всадник слегка трогал лошадь шпорой, и выезженный конь ударом головы валил пойманного с ног. Ползли слухи, будто по округе бродит банда «Черная кошка», о своем приближении оповещает мяуканьем, а своё присутствие будто бы обозначила человеческим трупом, повешенным на протянутой вперед и указывающей путь руке Ленина. Ленинская статуя возвышалась тут же на горе Атач, однако трупа мы не видели, не слышали и мяуканья, но жестокость то и дело заявляла о себе.

В школу я ходил, именно ходил минут пятнадцать-двадцать от дома, иду и у дороги вижу, лежит ствол ружья, обломков оружия валялось полно. Поднял ствол и продолжаю свой путь. «Дай-ка, пацан, мне эту штуку», – приветливо обращается ко мне один из двоих сидящих у обочины. Взял он у меня ствол и со всего маху хватанул им по голове сидящего рядом. Я про-

должал идти, не оборачиваясь, ошарашенный, но без страха. Взрослый мир на детей не распространялся, жестокость между детьми дело другое, больших мальчишек боялся, но мысли не возникало, будто меня тронет взрослый.

Эвакуацию я пережил в дружбе с Димкой и своим тезкой Митей, будущий математик Владимир Арнольд и будущий биолог Дмитрий Катаев. Над нами где-то в вышине реял старший Митин брат Георгий, мы его называли Юрой. В моей памяти Юра запечатлелся на телеграфном столбе, куда он, цепляясь «кошками», надетыми на ноги, взобрался, чтобы прицепить там проволоку и установить телевизионную связь. Да, телевизионную, так нам было сказано, а верили мы Юре беспрекословно. Когда связь оказалась налажена, у нас было спрошено, что мы хотели бы увидеть. «Кремль!» – последовал наш единодушный ответ. И увидели мы Кремль, не догадываясь, что перед нами в окошке какого-то ящика выставлена открытка. Убежденные в самделишности Юриного передатчика мы попросили показать нам «штаб Гитлера». «Едва ли нас туда пропустят», – предупредил изобретатель, и действительно, увидели мы темное окошко. Юра постоянно что-то конструировал, не знаю, изобрел ли, открыл ли нечто необычайное, ставший ученым-физиком Георгий Катаев. Митю я после войны потерял, у Димки в письмах спрашивал: «Что Митя?» Арнольд, уже нашедший решение неразрешимой задачи Гильберта, отвечал: «Иногда вижу занятого какими-то высокими проблемами». Из Интернета я узнал: сын репрессированного писателя включился в политику, избран гласным Московской Думы.

Значительнейшее для нас лицо военной поры – Вера Степановна Житкова, сестра нашего любимого писателя, Бориса Житкова, создателя книги «Что я видел», которую нам читали, потом мы сами читали и перечитывали наш Утраченный рай довоенной жизни, о переезде мальчика наших лет из Москвы на Украину, нам знакома была тревога и сутолка вокзалов, впрочем, заключительная фраза «И теперь в Харькове наш дом» щемила тоской по дому в Москве. Димкина бабка, бестужевка, занималась с нами, устраивала детские кукольные спектакли. Вера Степановна – мое первое за пределами семейного круга впечатление от личности. Годы спустя, когда я снова встретился с Димкой, а потом и воспоминания его прочитал, нашел у него подтверждение моему детскому чувству, которого я, разумеется, не мог выразить словами, но видеть видел отличительное, ведь даже внук понимал: бабушка – особая<sup>31</sup>. Через сорок лет мне удалось узнать русскую американскую писательницу Антонину Федоровну Рязановскую, «Нину Федорову», создавшую роман «Семья», – тоже бестужевка, тот же отпечаток – духовная дисциплина, внутренняя собранность. Сейчас таких женщин у нас назвали бы *бизнес-вумен западного образца*, но с русским оттенком: дисциплина у них не вытеснила душу.

Мелодии военного времени доносило до нас из общей уборной тоскливое пиликанье скрипки. Это играл Димкин отец, первостепенный математик, но, видимо, посредственный скрипач: «пилить» в жилой комнате ему не разрешалось. Он старался улучшить момент, когда уборной не пользовались, но, бывало, увлекался, и небольшая очередь нетерпеливо слушала скрипку.

После чтения «Гекельберри Финна» мы с моим тезкой и Димкой решили бежать из дома. «Тома Сойера» у нас не оказалось, но мы догадывались, о чем это. Причин для бегства, кроме возрастной потребности, у нас не было. Перед побегом обсуждали, на что будем жить. Соучастников побега я уверил, что в дороге смогу добывать средства для пропитания, изготавливая и продавая мольберты. Надо было жить в то время, чтобы поверить, насколько абсурдность моего замысла подсказывалась обстановкой. С рук продавали всё, ибо не было ничего, кроме карточек, и те не всегда отоваривались. Моя тетка-учительница продала на барахолке простыни и подушки, на которых спала. Мальчишка, срезавший у меня пуговицы, собирался их загнать. Мольберты я видел на картинах в «Истории искусства» Гнедича, моя мать о мольберте мечтала,

<sup>31</sup> В. И. Арнольд вспоминает годы эвакуации в книге «Истории давние и недавние» (Москва: Фазис, 2002)

мне казалось, такой товар должен найти спрос. И мы побежали, вечером весь дом поднялся на поиски. Наш дом, собственно говоря, барак, в нем когда-то жили строители Магнитки, с войной туда поместили ученую публику, а с наступлением темноты мы и сами вернулись.

Среди эвакуированных ребят-москвичей я пошел в школу первым, но Димка с Митей, на полгода младше меня, не признавали моего возрастного превосходства. Шестилетний Димка мне, семилетнему, объяснял начала арифметики. Как объяснял? Алгебраически! Не способен был я, подобно «подпольному человеку», сообразить, почему дважды два – четыре, мог ли постичь, как  $a$  и  $b$  превращаются в  $c$ ? А Димка говорил: «Это очень просто».

На уроках в школе начали разучивать новый Гимн Советского Союза. Мои сверстники один за другим выходили к доске и присоединялись к хору, я же робел подняться и остался один-одинешенек из целого класса. Мотивов, кроме робости, у моего упрямства не было, просто неспособен петь при людях, но походило на обструкцию. В перестройку, при гласности, сын автора Гимна, который мы должны были разучивать, осмелел до того, что стал отрекаться от коммунизма, его отречение подхватила американская пресса (дадут ему премию «Оскар», впрочем, последовательность могла быть случайной), а мне за мое упрямство никакого наказания не было, и мать в школу не вызывали: моя учительница – первая в череде учителей, которые к ученикам относились по-родительски.

Судьба распорядилась так, что я смог передать ей привет из Америки. В Нью-Йорк приехала делегация магнитогорских металлургов, принимала делегацию юридическая фирма, через которую по поручению Университета Адельфи я должен был получить разрешение работать, и я согласился выступить на встрече с металлургами. Поделился своими воспоминаниями о Магнитке, о школе, о разучивании Гимна, сошедшем мне с рук, и вдруг один из членов делегации восклицает: «Это же моя тетка!». Оказывается, моя учительница здравствует, и племянник обещал ей передать, что первоклассник 43-44-го учебного года хранит о ней благодарную память. Американская сторона была тронута, предложили мне вместе с металлургами отправиться в турне по стране с рассказом о нашей провиденциальной встрече, но Университет Адельфи, где я начал преподавать, воспротивился: кто будет вести курсы, которые мне поручили? Ещё раньше, в 60-х годах, когда я приехал в Америку кучером, меня спрашивали: «Почему же Институт литературы, где вы, очевидно, числитесь, послал вас за границу с лошадьми?» Я, право, не знал, как объяснить американцам – почему.

Выступая перед моими соотечественниками и сотрудниками фирмы Proskauer, говорил я по-английски, для гостей переводила приехавшая с ними переводчица, вдруг она обращается ко мне по-русски: «Вы соавтор постановки Петра Фоменко о русском пьянстве?» К постановке я причастен, но продолжать разговор было нельзя. «Привержен ли выпивке?» – вопрос из анкеты для поступления на работу. И американские юристы насторожились: что это от них пытаются скрыть? В театральной афише я не значился, но спектакль заканчивался моим апофеозом, «цыганский» хор величал: «К нам при-и-е-е-хал наш любии-мы-ый Дмии-трий Миха-а-лыч да- ра-го-о-ой!». Переводчица опознала меня, и я постарался как можно скорее затушить лучи моей отечественной славы.

В Магнитогорске разыгралась возле нас и трагедия, требующая Лескова для воплощения: старик-снохач застрелил сына-солдата, приехавшего на побывку. Намеки на такие страсти есть в «Балладе о солдате», хорошем фильме, несколько сентиментальном: согласно жанру всё смягчено. В повести «Живи и помни», глубокой по замыслу, пытался Распутин воссоздать драму мирного времени в условиях войны. Магнитогорскую страшную историю нам, детям, преподнесли как роковую ошибку – звучало правдоподобно. Каждой семье был отведен участок под картошку. Один раз пошли мы окучивать, а с другого конца поля доносился истошный вопль, это поймали и пороли вора: подкапывал. Крик стоит у меня в ушах, самосуд совершался долго. После этого нельзя было не верить рассказанному, будто бы ночью старик-сторож за нарушителя принял сына, вышедшего до ветра. Старик иногда приходил к нам, так и при-

ходил с ружьём, похожий на Шаляпина в роли Ивана Сусанина. Об его дальнейшей участи я ничего не слышал, чудовищное событие представлялось не подлежащим ни воображению, ни возмездию. Советская Орестея, трагедия роковой любви.

Наконец Москва, на пустыре возле Железнодорожной (бывшая Обираловка из «Анны Карениной») мы прерываем игру в футбол, возродившийся после войны, и внедряемся в толпу: на земле обессиливший от голода человек, его пытаются кормить, раздаются предупреждения: «Не давайте много, ему станет хуже!». Право писать о том времени принадлежит пережившим больше моего. Могу лишь вносить оттенки в коллективную повесть памяти.

«Неужели это всё я?»

*Джеймс Джойс.*

Мы сделаемся неузнаваемы для самих себя, если успеем взглянуть из другого времени, когда представления о нашем времени окажутся пересмотрены, а пересмотрены они будут ещё не раз. Современник, вспоминая без уловок, не выдумывая, не знает, что и думать о пережитом. Мой отец, выросший в деревне, принимался и бросал писать воспоминания, не хотел ни придумывать, ни хоронить сельского прошлого. «Ведь я же свои порты топтал!» – рассказывал отец о том, как вбивал в пыль память о деревне, и не мог забыть поэзии ночного и прелестей рыбной ловли.

У современника память перегружена несогласующимися подробностями, представления же последующих поколений выборочны, укладываются в «концепцию». Так иронически выражался наставник нашего поколения, профессор Самарин Роман Михайлович, для нас «Роман». А не имеющие воспоминаний подбирают факты из прошлого «в угоду любимой мысли» (пушкинское определение предвзятости). Воспоминания современника отличаются от реконструкции былого. Кто войны не пережил, у тех рубцов на памяти нет, им ничего не стоит уравнивать советских солдат с нацистами или вообразить, что при Сталине было время растущего благополучия, ежегодное понижение цен, а также «чистота нравов». Но у современника, если не выдумывает, язык не повернется сказать ни того, ни другого, ни третьего. О жестокостях наших солдат мы не знали, понижение было грошовым, «чистота нравов» такая, что дрожь пробирает при мысли о «чистоте». Чистота была наивностью, незнанием происходившего, наряду с чистотой – доноительство, осуждаемое и обыденное. Язык и не повернется у пережившего разницу представлений: происходило всё при обстоятельствах, какие кажутся невообразимыми даже видевшему тогдашнюю жизнь своими глазами. А сейчас вообразимы? Тогда над нами нависал страх.

Невозможность восстановить ушедшее в прежних пропорциях описал Герцен, и вино юности пришлось ему не по вкусу. «Домой не вернешься», – сказал Томас Вулф. Александр Довженко, возвращаясь к детству, обозначил несовместимость представлений: «Какая маленькая хата! Ведь она же была большая» («Поэма о море»). «Из тысячи случайностей создается завеса между нашим сиюминутным мнением и глубокими запасами памяти», – говорил Де Квинси. Завеса плотная – себя самого сквозь неё узнаешь с трудом, а как втолкуешь другим людям другого времени испытанное тобой? Даже в классике, запечатлевшей переживания вечные, мы видим и читаем совсем не то, что видели и читали современники. По крайней мере, всякий вспоминающий должен от себя требовать, чего ждёт от других: не понимать задним числом, чего не понимал когда-то.

Мемуаристы, которым есть что вспомнить, предостерегают от опасности «смотреть на явления прошлого, нередко далекого прошлого, глазами настоящего». Таково мнение Ивана Майского (Ляховецкого), советского дипломата, чей жизненный путь пересекся с траекторией нашей семьи. Пересечение провалилось в небытие между двумя книгами его воспоминаний, одна о времени предреволюционном, другая об эмиграции, самая драматическая глава его жизни не уместилась в мемуарных книгах. Написать о краткой интерлюдии Иван Михайлович

написал, когда писали много такого, о чем потом старались забыть, и своей книги о «демократической контрреволюции» 1918-го он не переиздавал, а мой отец опасался и говорить о нашей причастности к тем же событиям.

«С молодости я помнил и что было, и чего не было,  
а чем старше становишься, тем всё больше вспоминаешь небывшее».

*Марк Твен.*

На исходе второго десятка лет моего переписывания, передо мной возник историк техники, взялся он работать над биографией моего Деда Бориса, причастного к зарождению отечественной авиации и ставшего свидетелем покорения космоса. Оказалось, о многом, что касается нашей семьи, историк знает больше меня, но кое-чего не знает, и стал он донимать меня вопросами. Чтобы отвечать дотошному исследователю, был я вынужден сверяться с моими семейными источниками, в которые раньше не вчитывался, и в голове у меня начала образовываться мешанина из того, что помню и что удалось разузнать. Чувствую, не знаю, что же пишу, исторический очерк или образы прошлого? И по настоянию жены прекратил переписывать.

Двадцать с лишком лет написанное и переписываемое читала жена, придерживаясь принципа вмешательства в то, как написано, и невмешательства во что написано. Иногда мы с женой все-таки обменивались мнениями, тон наших дебатов поднимался до градуса, обозначенного в эссе Вирджинии Вулф «Русская точка зрения». Однажды «шум и ярость» нашей семейной полемики достигли слуха соседей ниже этажом. Нашего поколения американские старички решили, что пора сообщить полиции case of domestic violence – «акт домашнего насилия». Мы с трудом их успокоили: у нас шел разговор о литературе.

Те же двадцать четыре года мне технически и (с определенного момента) материально помогал мой сын, человек другого поколения, другой профессии, обладающий другим, чем я, советским и американским жизненным и профессиональным опытом. О советском прошлом сын не забыл: он родился и вырос в Советском Союзе, ходил в советский детский сад, учился в советской школе, служил в Советской Армии, высшее образование получил в Московском Государственном Университете, сохраняет дружеские и деловые связи со своими соотечественниками-сверстниками. Но аспирантом стал в Университете Брауна, там же получил ученую степень, его дальнейший путь – судьба американского ученого русского происхождения<sup>32</sup>, а я русский преподаватель в американском колледже. Сын мыслит генетически, для него я – лейбница монада, вне окружающего мира, хотя все-таки семейное ремесло ему подсказало *редактирование гена*, название проводимых им исследований.

Его старшая дочь Настасья, первая моя внучка, русская по крови, родилась в Америке, культурно – американка, непоколебимая в сознании своей правоты (self-righteousness). Когда она была маленькая, мы с ней спорили до временного разрыва отношений. В один из таких интервалов я случайно подслушал её нешуточный обмен мнениями с подругой-американкой на мой счет:

- Сколько же твоему деду лет? (“How old is your granddad?”)
- Понятия не имею. («I’ve no idea»)
- Сотни две, уж не меньше, я думаю. («He must be at least two hundred, I think»)

Теперь студентка Университета Чикаго Тася, как мы её называем, меня выслушивает будто заговорившую мумию: высказываемое мной для неё никчемно, хотя бывает и занимательно.

---

<sup>32</sup> Федор Урнов (р. 1968), биолог-генетик, студент МГУ, после аспирантуры и защиты диссертации в Университете Брауна там же преподавал, затем был направлен сотрудником в Национальный Институт здравоохранения, потом, вместе со своим руководителем, Алланом Вулфом, перешел в биотехнологическую фирму «Сангамо», где руководил исследовательской группой и входил в руководство фирмой (там и начали «редактировать гены»), с 2016 г. стал заместителем директора Био-Медицинского Института ALTIUS и продолжал читать курсы генетики и общей биологии в Университете Калифорнии, отделение Беркли. С 2019 г. научный директор Института передовых генетических технологий при Университете Калифорнии.



## Облик поколений

### Из классики

*«Я – облик поколений».*

*Томас Гарди, «Наследственность». Перевод А. Оношкович-Яцыны.*

...Утром открываю глаза и над собой вижу нос, мой нос – висит. Нечто гоголевское! Грежу? Из отдалённых мест вернулся дядя, мной не виданный<sup>33</sup>. «Спи, спи, – говорит, – я только посмотреть». Окончательно проснувшись, рассмотрел я дядю. Наши носы, глядя анфас, похожи, в профиль – разные. Дядин нос, как у моего отца, прямой, нос тех дулебов, чьи далекие предки не знали татарского нашествия и отличаются, по определению антропологов, *сильно выступающим носом*. Мой нос, достаточно длинный, загнувшись книзу, отклонился от волоколамской линии по черте, ведущей к Вильно.

Пока я подымался с постели, фамильный нос уткнулся в книжные полки. Дядя, похоже, любопытствовал, почему у нас много корешков с одним и тем же именем Глеб Успенский. Те же книжные корешки стояли у меня перед глазами, сколько я себя помнил, привык и не спрашивал, зачем нам столько одного и того же классика. Один из тех самоочевидных вопросов, что вечно откладываешь на потом, а потом оказывается и спросить не у кого. Хорошо, дядя вытащил один том, раскрыл и мне показывает: на пожелтелой странице фамилия бабушки с отцовской стороны. Описание нашей семьи мой прадед послал Успенскому, а классик целиком включил письмо в «заметки о народной жизни»<sup>34</sup>. Чтобы смог я прочитать, какими были мы в отдаленном прошлом, надо было сосланному дяде получить свободу. Дед Вася, не имея других слушателей, со мной делился воспоминаниями, однако ни разу не упомянул, что предок наш переписывался с классиком, о котором нам и в школе говорили. Ни слова не слышал я от бабушки – из семьи, известной классiku<sup>35</sup>. Ничего не говорила бабушкина сестра, носившая фамилию, которую увидел я на пожелтелой странице<sup>36</sup>. И отец помалкивал. Приобретали сочинения образцового автора и ставили на полку молчком. Опасались чего? Пережитые страхи пытаешься вновь пережить, и не верится. Придёт время, тем более станут удивляться, и уже принялись спрашивать, что за страх, а кое-кто утверждает, что и бояться было нечего, они, видно, запомнили, либо не жили в то время. Сверстникам не напомнишь, они и не хотят вспоминать, а людям другого времени не передашь своего самочувствия. Сколько ни объясняй, они из твоих объяснений сделают свои выводы, такие выводы, что ушам не поверишь. Некогда в порыве откровенности предложил я знакомому: «Хотите, я вам открою всю...». Он, венгр, прервал меня: «Прошу вас, нье нади! Я могу напиться пиан, очутиться не в себе и проболтаться». Не жившим в наше время нелегко себе представить внутреннюю цензуру, державшую каждого из нас в узде. Мозоли на мозгах понатерли, и кто не испытал перекрученности понятий дозволенного и недозволенного, тот едва ли способен уразуметь, почему попавшее в классiku письмо приходилось не помнить.

---

<sup>33</sup> Федор Феофанович Тузов, садовод и пчеловод, в раскулачивание был выслан под Томск.

<sup>34</sup> См.: Г. И. Успенский, Полн. Собр. Соч., Изд-во АН СССР. 1953, т.12, С. 283-285.

<sup>35</sup> Анастасия Петровна Урнова (1887–1957), из Тузовых, мать нашего семейства.

<sup>36</sup> Евгения Феофановна Тузова (1894–1972) – бабушкина двоюродная сестра, мы её называли «тетей Женей», учитель географии, окончила два пединститута, в Ленинграде и в Москве, преподавала в сельских школах, в городе Зубцове, в Магнитогорске, заведовала учебной частью в Школе рабочей молодежи Ленинского района Москвы, была удостоена Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Ленина.

## Поездка на родину

*«Почин выйти из мрака к свету уже сделан поколением “новых хозяев”».*

*Пояснение Успенского к письму моего прадеда (1890).*

*«Новые русские».*

*Книга Хедрика Смита (1983).*

В своих заметках Глеб Успенский приводил мнения с мест, кому и как живётся на Руси. До него отовсюду доносилось, по его словам, «самое беспощадное порицание всего, что творилось в деревне». Грязь, пьянство, лень и разврат, короче, темнота, известная каждому из нас по классике: «Гроза», «Власть тьмы», «Мужики» и «В овраге». Вдруг луч света в темном царстве: письмо из Дулепова Волоколамского уезда Московской губернии. «Наши крестьяне не потеряли образа человеческого» – классик выделил это сообщение моего пращура, а тот ему писал: «Трудом и трезвостью жить можно».

Таких, как мой прадед, Глеб Успенский и назвал «новыми хозяевами», заключив «новых» в кавычки и, очевидно, желая удостовериться, существуют ли такие. Два-три поколения спустя готовых к новой жизни не стало. Опереться решили на неготовых, а тех, прошедших культурно-политическую выучку, как формулировал Бухарин, отправляли переучиваться политграмоте туда, откуда вернулся и пришёл на меня посмотреть чудом выживший дядя. «Мёду много ел», – объяснил Дядя Федя свою выносливость. С малых лет поглощал он пропасть меда, «в пупке выступало», и когда мы уселись пить чай, дядя стал советовать мне есть меда как можно больше, хотя из-за мёда он и попал в места отдалённые.

О нашей пасеке и как её лишили, решил рассказать отец. Тридцать лет он опасался посетить родные места. Когда чуть оттаяло, ещё не восстановленный, прихватив нас с Братом Сашкой<sup>37</sup>, осмелился совершить *возвращение на родину*, говоря языком Томаса Гарди. Английский классик запечатлел кризис сельской Англии, отец его романы изучал, не имея возможности изучить пережитый им кризис сельской России<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Александр Михайлович Урнов (1945–2011) – астрофизик, доктор физико-математических наук, выпускник Физико-Технического Института (Физтех), сотрудник Физического Института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН), сопредседатель Ученого Совета по атомным реакциям, член совета Европейской Физической Секции, работал в Парижском университете, Массачусетском Технологическом Институте, Институте Макса Планка и в Годдардовском Центре космических полетов (NASA). Участвовал в создании телефильма БиБиСи «Стучась в небесные врата» (Knocking at the Heaven's Door) – о полете Юрия Гагарина. Преподавал на Кафедре теоретической физики в Alma Mater – Физтехе. Из воспоминаний студентов: «На семинаре Александр Михайлович рассказывал о физике Солнца, после семинара ещё два часа беседовал с нами. Начали с физики, перекинулись на образование в России и за границей, к тому времени, как дошли до вахтера, говорили о смысле жизни... Это был самый отзывчивый из преподавателей на Физтехе... Мы потеряли очень хорошего человека».

<sup>38</sup> Отец защитил кандидатскую диссертацию о Томасе Гарди, написал предисловия к переводам его романов «Мэр Кэстербриджа», «Джуд Незаметный» и «Тэсс из рода д'Эрбервилей», выпустил книгу о жизни и творчестве английского писателя. О Гарди есть главы в книгах отца «На рубеже веков» (его докторская диссертация) и «Звенья традиции», отец входил в редколлегия серии романов Гарди, переводы которых выпускало Государственное издательство «Художественная литература». Печатались переводы сотысячными и миллионными тиражами: век читателей и книжников! На меня в раннем детстве произвели неизгладимое впечатление слова Томаса Гарди на первой странице диссертации отца: «Пусть наконец будет правда, даже если она ведет к отчаянию». Не могу назвать другого высказывания, которое бы меня так потрясло (тогда английский классик у нас был Томасом Харди). В пределах школьного возраста потрясающее впечатление произвели слова Гамлета: «В моей душе шла борьба, мешавшая мне уснуть». Приведу различные переводы: «В моем сердце происходит борьба, которая не давала мне спать» (подстрочник М. М. Морозова), «Какой-то род борьбы лишил меня покоя» (А. Кронеберг), «В моей душе кипела какая-то борьба, из-за которой не мог уснуть ни на минуту я» (А. Соколовский), «Я в сердце чувствовал какую-то борьбу» (К. Р.). «В сердце у меня сражение было. Не мог я спать» (А. Радлова), «В моей душе как будто шла борьба» (М. Лозинский), «Мне не давала спать какая-то борьба внутри» (Б. Пастернак) Читательское потрясение школьных лет – «Обломов»: роман проглотил в один присест, не отрываясь, закрыл книгу – перевернул и опять прочитал от начала и до конца.

По пути в нашу деревню мы оказались на бывшем бойком месте, где устраивались ярмарки, там уцелела чайная, воспетая поэтом Николаем Тряпкиным: «Чайная, чайная, место неслучайное...» Зашли в эту чудом сохранившуюся чайную, взяли пару чая, отец нам объяснил: кипяток и заварка, мы с братом поняли смысл слов, попадавших в классике, и двинулись дальше.

У деревни, прямо на дороге, пересекая нам путь своей тенью, стоял человек. Зимняя шапка была на нём... Вспоминая эту шапку среди яркого лета, я вижу её нелепость, но тогда, явись кто в кольчуге, удивления не было бы, всё казалось воскресающим баснословным прошлым. Отец обратился к стоявшему по имени: «Ты ли это?» – и назвал себя.

«А-а, – отозвался человек, – давно тебя не было»

«Ты ли это?»

«Я и есть», – подтвердил встречный безучастно, словно он ли, не он – неважно.

Они постояли друг против друга. Ветер задел редкие волосы отца, блеснула седина. Отец спросил: «Наши есть?» В шапке утвердительно кивнул в ответ, однако не показал к ним, хотя бы невольным взмахом, дороги, будто проверял, всё ли отец забыл и что помнит. Отец и не спрашивал. Они ещё постояли друг против друга с отсутствием выражения на лицах. Стояли, не произнося ни слова, казалось, лишь затем, чтобы послушать, как пролетает, сухо посвистывая, ветер.

«Ладно», – произнёс отец.

«Ага», – отозвался встречный, и мы пошли.

«Сосед», – пояснил отец и вдруг воскликнул: «Хорош! Сам себя не узнает»

Позднее, в течение дня, я от сельских родственников услышал, что это Карась, из бедноты, похоже, уклонившийся от сведения счётов со своим социальным врагом, и отец, кажется, был несклонен освежать их общих воспоминаний.

«Тут была пасека» – отец указал на пустырь, когда мы пришли в деревню. Мёд, по его словам, возили на ярмарку. Стоя на семейном пепелище, отец после паузы произнёс: «Сапоги шли на продажу». Словно сознаваясь в постыдном поступке, добавил едва слышно и скорбно: «У нас уже почти была своя фабрика». «Мы были кулаки?» – спросил Сашка. Отец помедлил с ответом, не желая отягчать сознание тринадцатилетнего сына знанием навешенного на семью ярлыка. Выдержав паузу, сказал: «Богатыми были Тузовы, а Урновы с ними породнились». «Тузовы» и означает богачи. Как появились Урновы, тоже известно. В книге о происхождении русских фамилий оксфордский филолог, по рождению москвич, занес «Урновых» в разряд имен, *произведенных от предметов*<sup>39</sup>. У нас предметом послужила кружка: наш предок, выбранный сельским старостой, собирая подати, ходил по деревне с урной, его прозвали «Урна». Мой отец ещё помнил: кто называл его Кудимовым, а кто – Урновым, прозвище в конце концов заменило фамилию, все, кто зовутся придуманным на живой памяти именем, – родственники.

Жаль, не расспросил подробности, да и отец не был склонен рассказывать: в прошлом – пасека, сапожная мастерская, чуть не фабрика, а он – политически скомпрометированный и всё ещё не восстановленный. Думаю, было у нас нечто вроде крестьянского «кожевенного заведения» по соседству с чеховским Мелеховым. Эта поднимавшаяся мелкая, кустарная промышленность пошла прахом под натиском индустриализации и коллективизации. Не могла не пойти. Явись такие заведения после отмены крепостного права, они бы уцелели и ещё выросли, а крепостничество отменять всё не решались ради интересов дворянства. Из книг я узнал: когда труд крепостных был дешев, ручной труд, у помещиков существовали и процветали промышленные заведения, но преуспевание крепостников, сопротивлявшихся индустриализации,

---

<sup>39</sup> См. В. О. Unbegaun. Russian Surnames. Oxford: Clarendon Press, 1972, p. 254. Русск. пер. Б. О. Унбегаун. Русские фамилии. Под ред. Б. А. Успенского. Москва. «Прогресс»-«Универс», 1995.

мешало дальнейшему развитию, и когда западно-европейские страны перешли к машинному производству, Россия, до поры игравшая в мировой торговле передовую роль, оказалась страной отсталой<sup>40</sup>.

Так говорили и говорят отечественные историки, а зарубежный наблюдатель, советолог Маршалл Голдман прочертил кривую, вернее, спираль, то восходящую, то нисходящую: «Два века ушло в России на то, чтобы растратить наследие, оставленное реформами Петра Великого, которые всё же недостаточно подготовили страну к промышленному соперничеству, начавшемуся с Индустриальной революцией. До начала XIX столетия Россия производила стали вдвое больше чем Англия, а к 1840 году стала производить одну двадцатую того, что производили англичане»<sup>41</sup>.

Сейчас читаю и слышу, что перед Первой Мировой войной мы всех опередили по выплавке чугуна, забывают добавить – за счет иностранных кредитов<sup>42</sup>. «Царская Россия была величайшим резервом западного империализма... Она давала свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо и металлургию» (Сталин. «Вопросы ленинизма»).

Мы догоняли и перегоняли, перегоняли в том – другом, но в целом не могли добиться благоустройства, которое называют цивилизованным, вот и получилось: первые в космосе – при бездорожье на земле. Недалеко от нашего дома на Большой Полянке, на углу Малой Полянки и Хвостова переулка, весной и осенью, в оттепель и дождь, разливалась лужа. Её некогда описал мой символический «сосед» Иван Шмелев, живший на том же углу напротив от «соседа» Ап. Григорьева, хотя Шмелев этого не создавал. Лужа баснословных размеров с тех пор разливалась, нам оставалось повторять про себя пушкинские строки, благословляя колеи и рвы отеческой земли – в виду Кремля.

Если, как считают историки, основным препятствием на пути российского прогресса было крепостное право, а устранить это препятствие не позволяло дворянство, то – вообразим: крепость устранили своевременно, возникла бы созданная дворянами великая русская литература, исполненная поэзии большого досуга? Есть Константин-Леонтьевский ответ: либо романы, либо равенство<sup>43</sup>. Есть ответ Маркса: рабский труд – условие создания античной классики и, в конечном счете, цивилизации. Это рабства не оправдывает, лишь определяет одно

<sup>40</sup> См. М. Балабанов. Очерки по истории рабочего класса в России, ч. 1. Киев: «Сорабкоп», 1924, С. 18-19.

<sup>41</sup> Маршалл Голдман доискивался причин неудачи экономических реформ в пору перестройки. По его мнению, одна из причин – это угнездившаяся в русском сознании массовая инертность снизу и постоянные промедления сверху. «Лишь к исходу девятнадцатого столетия российская промышленность обрела некоторую самостоятельность и независимость от государства. В свою очередь крестьянство всё дожидалось Столыпинских реформ 1906-1911 гг., чтобы утвердиться как класс независимых и обеспеченных сельских тружеников [...] Некоторое время Россия оставалась одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, так называемой «хлебной корзиной Европы». Положение радикально изменилось со введением жесткой сталинской политики в сельском хозяйстве. [...] В первую очередь из-за коллективизации, а также упорного сопротивления крестьянства Советский Союз в очередной раз испытал радикальные преобразования и в результате крупнейший экспортер зерна стал крупнейшим импортером». См. Marshall I. Goldman. What Went Wrong with Perestroika. New York: Norton, 1992, pp. 34-35.

<sup>42</sup> О зарубежных вкладах в российскую промышленность см. И. Маевский. Экономика русской промышленности в условиях Мировой войны. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1957. Глава 3. Особенности развития русской промышленности в условиях войны, С. 99-166; А. Л. Сидоров. Финансовое положение России в годы первой мировой войны (1914-1917). Москва: Издательство АН СССР, 1960; В. С. Дякин. Русская буржуазия и царизм в годы Первой Мировой войны (1914-1917), Ленинград: «Наука», 1967. Эти книги появились в послесталинские годы, в промежуток относительной объективности. Некоторые нынешние комментаторы, фигурирующие на телевизионном экране в качестве экономистов, манипулируют цифрами, не учитывая, что стоит за цифрами прибыли капиталистов-монополистов, какова оборотная сторона фантастических доходов, которые контрастировали с обнищанием рабочих и крестьянства, а также недостаточным снабжением армии. Согласно цитируемым советским историкам, к 1917 году положение России, находившейся в полукOLONиальном положении, стало катастрофическим.

<sup>43</sup> Константин Леонтьев шел дальше и высказывался ещё радикальнее: главное, с его точки зрения, сословность и покорность. См. его рассуждения о том, что нужно для расцвета культурного творчества в статье «Национальная политика как оружие всемирной революции».

из зол развития. Эпическое состояние общества – плодородная почва для творчества, такова формулировка Маркса, шедшего от Гегеля. Поэтому Тургенев, студентом слушавший в Берлинском Университете гегельянцев, объяснил Западу, чего в России ещё не осознали: явление «Войны и мира».

Роман Толстого в свое время показался «принижением Двенадцатого года», в толстовской эпопее увидели высокомерие аристократа<sup>44</sup>. Историки утверждали, что Толстой создал легенду<sup>45</sup>. Факты, добытые историками, говорили о том, что, вопреки патриотическому пафосу толстовского романа, на самом деле предательство среди высшего слоя было чуть ли не повальным, недовольство среди крепостных крестьян грозило перерасти в «пятую колонну». Конечно, у Толстого есть и предательство верхушки, и бунтарство низов, но не в той пропорции. Все критики по-своему были правы. Странно бы думать, что такие читатели прочли не то, что написано. «Война и мир» – роман полемический, в пику левым и правым, те и другие поняли роман, но не хотели принять за истину. В повествовании, «без лишней скромности, как Илиада», Толстой действительно дегероизировал 12-й год, не оправдавший ожиданий доблестных «капитанов Копейкиных»: что получили они от победы? Лучше бы боролись за свою свободу! «Война и мир» была ответом: *навязываемый извне прогресс не способен превозмочь консервативного самосохранения нации*.

Замысел романа, думаю, оформился у Толстого после визита к Герцену. Толстой побывал у него в Лондоне примерно год спустя после публикации герценовских рассуждений о *борьбе народов против освобождения*: «Наполеон додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своих господ». Через четыре года Толстой выразил в романе идею, которая критиком левого лагеря была определена как «философия застоя». А консервативный, сочувственный Толстому критик (Н. Н. Страхов) объяснил, что «необходимо понять в отношении русских людей вообще и в отношении персонажей “Войны и мира”», а именно: «Чувства русских людей, их мысли и желания, в той мере, в какой в этих чувствах и желаниях есть нечто героическое, что русские люди понимают под героическим, не соответствуют чуждым нам и ложным представлениям, созданным Европой»<sup>46</sup>. По свидетельству супруги автора, графини Толстой, то был единственный внушительный голос в поддержку её мужа.

Пережитки феодализма тормозили социальное развитие и на Западе. В Англии требования, выдвинутые рабочими вожаками, чартистами, в середине девятнадцатого века ждали своего осуществления до середины века двадцатого, но крепость отменили за четыреста лет до нас, средний класс пропустили вперед ещё в семнадцатом веке, когда на авансцену выступили Робинзоны. В западном постепенно-медленном движении в отличие от нашей страны не бывало возвратов, а у нас старались «дело Петрово назад повернуть», каждый из самодержцев

<sup>44</sup> Принижение Двенадцатого года в романе «Война и мир» усмотрел современник, участник Бородинской битвы князь П. А. Вяземский, о фаталистической философии в толстовском романе писал публицист лево-радикального направления Н. В. Шелгунов. Таковы примеры проницательно-отрицательной критики, к таким читателям обращено набросанное, однако не опубликованное авторское послесловие, в котором Толстой признает, что ему не удалось художественное выражение его мысли о ходе истории, которое в конце концов он высказал напрямую. Историософская часть «Войны и мира» не разобрана даже в лучшем нашего времени истолковании толстовского романа, у С. Г. Бочарова, хотя Сергей говорил, что последний полутум, где Толстой излагает свой взгляд на исторический процесс, неотъемлемая часть толстовской эпопеи.

<sup>45</sup> В книге об «истинной истории военных действий и в романе “Война и мир”» Доминик Ливен доказывает, что мороз морозом, народ народом, а наши генералы оказались умнее наполеоновских маршалов. См. Dominic Lieven. Russia Against Napoleon. The True Story of the Campaigns of War and Peace, New York: Penguin Books, 2009. Не скрывая своей пристрастности (среди генералов были его предки), автор продолжил дело Александра Амфитеатрова, занявшегося к столетнему юбилею Отечественной войны фактографической проверкой эпопеи Толстого, результат проверки книга – «Лев Толстой и Александрово воинство» (1912). Для этой книги в обширной библиографии к «Истинной истории» Доминика Ливена места, к сожалению, не нашлось.

<sup>46</sup> Не имея оригинала статьи Н. Н. Страхова, даю обратный перевод английского перевода, включенного в изд. Leo Tolstoy. War and Peace. Ed. George Gibian, New York: Norton, 1966, P. 1382.

старался, даже если на словах следовал Петру. Памятник ему воздвигавшая «матушка Екатерина» вернула дворянству то, что Петр у дворянства отнял – право на безделье. (Характерная примета нашего нынешнего, сервилистского времени: ни о ком постсоветские историки не говорят с такой кислой миной, как о Петре.)

Крестьянские предприятия, как у моих предков, запоздало-несвоевременные, смёл мировой процесс рождения современной промышленности, и угодили потомки корреспондента Глеба Успенского под раскулачивание. В 1890-х годах мой прадед сообщил писателю: «Семейства у меня шесть сыновей и одна дочь, двое сыновей женаты и имеют шесть человек детей; всего семейства, значит, у меня 17 человек». Из обширной крестьянской семьи сорок лет спустя, в коллективизацию, пропали шестеро моих дядьев, вскоре пришла война, Урновых погибло восемь человек. Среди них Виктор Михайлович Урнов. Узнал я о нем из Интернета ([www.pobeda1945.ru](http://www.pobeda1945.ru)), в старательной справке сообщается: подносчик минометной роты, был награжден медалью «За отвагу», участвовал в боях под Сталинградом и на Курской дуге, освобождал Орёл, пал в бою 22 июля 1943 года. У братской могилы, в которой он похоронен, поставлен памятник. Дозвонился я до жительницы Самары по фамилии Урнова. Наша родственница, однако некровная – по мужу, развелась, муж уехал, тесть скончался, о Викторе не знала ничего. Мне удалось установить связь с Военкоматом Орловской области, помогли работники местной почты, и ко мне поступило письмо за подписью военкома: имя нашего родственника будет увековечено на мемориальном надгробии. Сам я того не увижу, сын с внучкой обещают увидеть.

Стыжусь ли, что не слышал о павшем герое раньше? Вынужденное забвение – черта времени, которое не воскресить: людьми владело одно чувство – остаться в живых. Вспоминать принялись на досуге, и кто говорит иное, тот придумывает задним числом. Война жила и живет в памяти, как мера, точка отсчета, но воспоминаниям с обдумыванием не споспешествовали обстоятельства. Записанные матерью признания солдата никто из нас и не перечитывал до тех пор, пока после её кончины не принялся я разбирать семейные бумаги. Когда ездили мы с отцом в нашу деревню, то повидали старого-престарого родственника. Он, кажется, только и ждал случая рассказать, как в Гражданскую войну они с Дедом Васей пробирались в Самару.

«Мы переходили линию фронта!» – начал глубокий старик свою исповедь. Но отец решительно перевел разговор на другое, а разъяснять мне что-либо и вовсе отказывался. Ту же линию, как я узнал в конце концов, перешел Майский, тогда – меньшевик. Отец, когда работал в Обществе Культурной связи (ВОКСе), встречал Майского, но отца исключили, а Ивана Михайловича арестовали. Когда же началась послесталинская оттепель, пошли мы с родителями в соседний с нами кинотеатр «Новости дня», там показывали документальные ленты, раньше невиданные: много непарадных кадров со Сталиным. Фильм закончился, зажегся свет, зрители стали подниматься со своих мест, отец почти крикнул: «Смотри, Майский!» и указал на выходящего из зала пожилого мужчину, которого мы видели мелькнувшим на экране. Указать указал, но поздороваться не подошел: Майского уже выпустили, а отец оставался невосстановленным. Потерпевшие друг друга сторонились.

Много лет спустя я оказался с Иваном Михайловичем в академической больнице, наши палаты соседствовали, а прогулки, нам предписанные, мы совершали совместно, Майский – в кресле на колесах. Я расспрашивал Ивана Михайловича о том, как ему ещё до признания Советской России удалось участвовать в торжествах на родине Шекспира, а про линию фронта и что это был за фронт, не спросил. Со временем я из разных источников уяснил: после разгона Учредительного Собрания образовался в Самаре независимый от большевистского правительства Комитет Членов Учредительного собрания, так называемый Комуч. Майский в Комуче занял пост министра труда, а народной армией командовал полковник Капель (незабываемые капелевцы в «Чапаеве»). Кто только не принял участие в учреждении Комуча! И Керенский, и Виктор Серж-Кибальчич, создатель «Дела Тулаева». «Мы мечтали о создании истинно демо-

кратической республики в России», – в письме Короленко сообщал Майский. Но Колчак прикрыл Комуч. «Пришел и, как медведь в детской сказке, без труда раздавил карточный домик нашей идеальной демократии», – пользуясь спецхраном, прочел я у Майского в книге, которую он не переиздавал. Зачем же Дед Вася с родичами пробирался в Комуч? Комитет возглавлял депутат от эсеров. Один из Урновых остался в Самаре, его сын, 1924-го года рождения, пошел на фронт Отечественной войны.

«Кулаки – мужицкая аристократия».

*Глеб Успенский.*

Выжившие после раскулачивания родичи понаехали к нам из разных мест проводить скончавшегося Дядю Костю, старшего брата отца<sup>47</sup>. Увидел я кулаков, и они, подобно настоящей вещи (Генри Джеймс), ошеломили меня. Парадокс, по Генри Джеймсу, в том, что увиденное своими глазами не отвечает нашим ожиданиям, а я, наоборот, оказался озадачен сходством увиденного с моими ещё школьными представлениями. Выйдя из школы, мы школьные представления отбрасываем, как безнадежно упрощенные, а они-то, несомненно упрощенные, по ходу лет всё больше подтверждаются в тех основных особенностях, о каких нам полагалось знать со школьной скамьи: обнажается суть.

Из семейных разговоров, которые я слышал с детских лет, в мое сознание постепенно проникал вопрос о земле. Деревенские родственники перед революцией годами ждали, когда же наконец дадут землю. Обещали эсеры, обещание перехватили большевики, об этом слышал я лет с пяти. Лейтмотивом пробуждения моего сознания стал скрежет зубовой, каким Дед Вася сопровождал свои стенания о похищении Лениным пункта эсеровской программы о передаче всей земли крестьянам. Приедешь к деду и услышишь: «Даже в Истории Компартии признано – украли!». Положим, там не сказано украли, но заимствование признано. У большевиков сначала была национализация, а велика ли разница по сравнению с передачей земли крестьянам, я не понимал, и не до того мне было, не до того...

Усвоил со временем: поначалу действительно дали землю. «Нам на пятерых девок отрезали», – говорила дальняя родственница. У них, не считая отца, мужиков не было, одни девки, на девок до Октября земли не давали, такова реальность, о которой есть в «Плодах просвещения»: «куренка некуда выпустить». Получили землю, вздохнули с облегчением, а потом? В 1880-х годах, желая успокоить крестьян, освобожденных вместе с крепостным ярмом от земли, царский министр финансов им обещал, что землю у помещиков они сумеют выкупить к... 1931 году<sup>48</sup>. Каково обещание, таково исполнение. Преемственность! Об тот срок, указанный царским министром, советская власть, продолжая дело власти царской, земли крестьянам обратно не дала, загнав их в колхозы на том основании, что национализации недостаточно, необходимо ещё и обобществление.

Большевики сыграли в слова под тем предлогом, что государство всенародное: нечего рядиться – всё *наше*, социалистическое, и проделали с крестьянством в точности наоборот против того, что допускал Маркс: «обеспечить ей (*крестьянской общине* – Д. У) нормальные условия свободного развития»<sup>49</sup>. Условие нормальности Маркс по-разному, но усиленно под-

<sup>47</sup> Константин Васильевич Урнов (1905 – 1966), инженер-электрик, руководил оборудованием комбинатов «Известия» и «Правда», доктор технических наук, профессор, преподавал в Полиграфическом Институте, заведовал профилирующей кафедрой, автор учебника «Электропривод полиграфических машин». «Является автором десятка изобретений по части электроприводов полиграфических машин, большинство из которых нашло практическое применение» («Новости полиграфии», № 7, 2010. сентябрь, стр. 35). Дядю Костю сразил рак, но даже в онкологической больнице он размышлял и пытался писать о возможности космического полета с помощью электропривода.

<sup>48</sup> См. История СССР, Редколлегия, председатель Б. Н. Пономарев. Москва: «Наука», 1968, т. V, С. 363.

<sup>49</sup> «Специальные изыскания, – писал Маркс, набрасывая письмо Вере Засулич, – которые я произвел на основании материалов, почерпнутых из первоисточников, убедили меня, что община является точкой опоры социального возрождения России». «В России, – продолжал Маркс, – благодаря исключительному стечению обстоятельств, сельская община, ещё существующая в национальном масштабе, может постепенно освободиться от своих первобытных черт и развиваться непосредственно как эле-

черкивал, а всё и в царской России, где крестьян оставили без земли, и в советской, когда земля попала в распоряжение политической власти, делалось ненормально, общинное, коллективизированное крестьянство вместо того, чтобы пройти, по выражению Маркса, «через ужасные перипетии» частнособственнического капиталистического производства, оказалось под жесткой властью капитализма государственного. Сталин признавал ненормальность или, во всяком случае, необычность избираемого им пути преобразования сельского хозяйства. Первый вбитый между народом и новой властью клин, след от него с тех пор не изгладился и не забылся, временами боль затихала, но рана снова начинала ныть.

Из пятерых девок, получивших, а потом потерявших землю, видел я двух старух той породы, что «вынесет все, что Господь ни пошлет». Сбежали из деревни от коллективизации, а бежать наши родичи начали с той поры, как получили кабальное освобождение от крепости.

Будем надеяться, в учебниках истории напишут: *«По Ленину, широкая поддержка необходима революции. Ленинская партия, готовая взять власть, в 1917 г. дала как можно больше обещаний наибольшему числу людей. Выполнить обещания, придя к власти, естественно, не смогли. Так случалось со всеми революциями, но революция в России была наиболее радикальной, и разочарование в её результатах оказалось чрезвычайно глубоким. Это и позволило семьдесят четыре года спустя произвести контрреволюционный переворот в интересах преуспевающих при псевдосоциализме».*

В 1993 г. на Конференции в Питсбурге, штат Пеннсилвания, мне дали возможность сделать об этом доклад. Председатель нашей секции меня не прерывал, но когда стал я отвечать на вопросы, он восклицал: «Если бы услышала вас моя жена! Она бы высказалась!» Жена у него была российская, но, видно, прочла мои тезисы и, вроде отказавшихся посещать мой курс вольнослушателей, не пожелала портить себе нервы и осталась дома, уклонившись от полемики того накала, что описан Вирджинией Вулф.

Меня на всю жизнь закалили споры с Дедом Васей, митингового диспутанта доводил до изнеможения, чтобы спор прекратить, дед укладывался на диван и отворачивался к стене, притворяясь спящим. Была бы на конференции дискуссия, можно бы напомнить марксистское положение о людях, делающих революцию и на другой день обнаруживающих, что не ту революцию они делали. Так происходит всегда и всюду: провозглашают, что Господь создал всех равными, однако равенство приходится ограничить и сделать неравным, исключив «цветных», нацменьшинства и всех женщин. Обещают власть советам, а устанавливают правление партийное, к тому же однопартийное.

Вот как это выглядело со стороны, без идеологического мистицизма: «В силу отсутствия частной собственности всё в Советском Союзе фактически являлось государственным, основное исключение – Коммунистическая Партия. Эта формально общественная организация однако имела свои ячейки в каждом учреждении, и таким образом на всех уровнях образовалось партийное правление, параллельное органам государственной власти. СССР стал и оставался диархическим, двоевластным – партийно-государственным. Во многослойной властной структуре нижние организации подчинялись высшим, образуя пирамиду, партийно-государственный параллелизм двух властных пирамид приводил к переплетению полномочий»<sup>50</sup>.

Мы на себе испытали параллелизм. Иначе было нельзя? Нельзя так нельзя. «Что сделано, то сделано» – Маркс в таких случаях вспоминал «Парижские тайны». Но что посеешь,

---

мент коллективного производства в национальном масштабе». Но для того, чтобы это произошло, нужно, по словам Маркса, «прежде всего устранить глетворные влияния, которым она [община] подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития». См. «Маркс и Энгельс в переписке с русскими политическими деятелями» (цитирую по изданию, помещенному на Интернет). Ненормальность положения в нашем сельском хозяйстве, при больших достижениях, полученных огромной ценой, сказывалась до конца советского режима, – об этом у меня представления не книжные – через конный мир и поездки на уборку в колхоз. В постсоветские времена, как я узнал от коневодов, ненормальность ещё и усугубилась.

<sup>50</sup> Stephen Kotkin. Magnet Mountain. Stalinism as a civilization, p. 2.



то и пожнешь: социальных законов не изменишь. В кинофильме «Чапаев» («Давид» советской эпохи) есть намек на диархизм: обмен репликами между народным комдивом и приставленным к нему комиссаром. «Кто здесь главный?!» – возмущается Чапаев. Комиссар (не задумываясь): «Ты», и тут же вносит поправку: «И... я». Расхождение между обещанным и полученным продолжало сказываться до тех пор, пока в конце концов система под напором внутренних и внешних противоречий не дала трещину. У нашего социализма не оказалось человеческого фундамента той же крепости, что за счет мелкой буржуазии обеспечивает устойчивость капитализма. Западная буржуазия пришла к власти, готовая не только на муки и на смертный бой, а умея и желая иметь и торговать, в отличие от русских рабочих и крестьян, которым ещё нужно было учиться, учиться и учиться существовать при социализме. Предки мои по отцу, трудовики, названные кулаками, то есть (по Далю) крепкие, рукастые и хваткие, претерпели в нарушение марксистского закона: *ни один способ производства не уходит со сцены, не исчерпав своих возможностей*. Кулачеству не дали развернуться, не дали до революции, не дали и после революции: поднимавшийся класс был уничтожен на подъеме. Причина у нас обычная: всё не вовремя. Если бы подняться кулачеству позволили в исторически оправданный срок! А то и послабления давали, и уничтожать принялись, когда век индивидуального фермерства миновал.

В Америке сейчас только и разговоров, что о необходимости возродить «средний» бизнес, однако люди понимающие говорят – романтизм, реакция на постиндустриальный прогресс. К моему времени мои сородичи, чудом уцелевшие новые хозяева, тургеневские чумазые, случайно зажились в несвоем времени, им на смену должны были прийти цивилизованные операторы полей. Таких я видел в Америке, и даже их, цивилизованных, история уже пускает под корень своей косой, а у нас, когда требовались труд и трезвость, пришли живые подобию персонажей беловского «Привычного дела», те самые, вроде Караса, кого мои жившие трудом и трезвостью предки считали непутевыми и никудышными. Мы с отцом у себя в деревне повидали их на том же месте и в том же состоянии, в каком они находились, борясь с моими предками.

«Скоро ли перестанут вешать?»

*Шекспир.*

«Кулак не сласть, а без него ни шась» – говорит пословица. В годы НЭПа Дед Вася выпустил руководство «Как крестьянин может сбывать хлеб за границу» – не город родной кормить. Без кулаков нельзя и с кулаками невозможно – вроде возрастного кризиса, который предпочтительно пережить в положенное природой время, а если с запозданием – ситуация безвыходная, которую у историков не хватает объективности изучить, а у художников слова не находится таланта воссоздать. Историки зарубежные, изучающие нашу страну, говорят, что можно было и без коллективизации обойтись, им со стороны, вероятно, виднее. Они приводят примеры «безболезненной» индустриализации полуфеодальных стран, например, Испании, правда, забывают упомянуть, что земельный вопрос разрешился в Испании Гражданской войной. У нас довод о ненужности форсированной индустриализации будто бы доказан писателями-деревенщиками, Василием Беловым и его творческими единомышленниками – такая точка зрения существовала в нашей критике. Уговаривал выросшего в деревне отца написать полемические воспоминания. Отец обещал и не написал именно потому, что не знал, что и думать. Должно найтись перо, способное живописать российскую Вандею с бальзаковской художественной объективностью. Не в упрек нашим писателям – у Шекспира всего полстроки скрывают ужас вроде коллективизации – «огораживания». Титулованные землевладельцы огораживали поля, а кто жил и трудился на них, тех выгоняли. Выселяли вольных землепашцев, йоменов. Из той среды, со стороны матери, Шекспир и вышел, он сам, когда разбогател на театрально-драматическом поприще, пробовал арендовать землю, а предприимчивые люди, чуя, куда дует ветер перемен,

заручились согласием лэндлорда и захотели ту землю огородить, однако в конфликте со своими соседями драматург показал себя, по выражению биографа, ловким дельцом: огораживание не состоялось, правда, тяжба прекратилась только после кончины Шекспира. Изгоняли издольщиков ради пастбищ. «Овцы поедают людей» – вошедшая в учебники метафора гуманиста Томаса Мора. Изгоняли, объявляли *опасными бродягами*, попадешься – пороли, по второму разу – вешали, дороги были уставлены виселицами, о чем и упоминает шекспировский Фальстаф.

С коллективизацией сходство полное, только случилось это у англичан почти пять столетий тому назад. Ограбление, как установил Маркс, предшествовало накоплению. Ограбление оправдывалось развитием текстильного производства, залогом будущего подъема, а подъем невозможен без подъемных. Огораживания, рабство, крепость, коллективизация – долги, взятые у истории, их никогда не отдадут и никогда не прощают: вечно-гнойная рана. Теперь у нас поют песню о «потенциях НЭПа», *лицемерного времени*, как определил современник – Борис Пастернак.

Как иллюстрацию к тому, о чем поют, приведу письмо из семейной переписки двадцать второго года, в начале НЭПа.

Петроградским Деду Борису с Марией Максимовной<sup>51</sup> приходилось устраивать семейную жизнь на вулкане. Прежние деньги превратились в бумагу, новые – миллионы, на которые мало чего купишь, примус стоил пятнадцать миллионов, а без примуса ни огня, ни тепла. Дед, находясь в московской командировке, пишет в Петроград, что везет полученные пайком мыло и муку, а дальше сообщает с изумлением: «Торговля съестными припасами в полном ходу: открыты гастрономические магазины, где лежит сыр швейцарский, икра, балык, сардины и прочие деликатесы, но всё по безумным ценам». Деликатесами дедушка наслаждался вприглядку, хотя давно перестал быть пролетарием.

Я, родившийся москвичом, жил у Пушкинской площади, на Страстном бульваре, за углом от нас блистал витриной последыш НЭПа – «Елисеев», так по-старому называли Гастроном № 1, там не по карточкам отпускали – продавали по коммерческим ценам. Французская булка стоила 50 рублей (прописью: *пятьдесят*), а батон белого хлеба по карточкам в булочной от нас напротив 13 копеек. В булочной, на углу Чехова, Малой Дмитровки, стояли в очереди, в «Елисееве» без очереди, но «Храм Чревоугодия» мы посещали редко. А ведь семья научных работников, отец до исключения получал неплохо, порядка пятисот рублей, однако считая на булки, это десять булок, могли лишь изредка, в порядке исключения, позволить себе французскую от Елисеева, даже пахла по-другому, не так, как батоны из государственной булочной, которые не пахли ничем.

В порыве просталинской ностальгии показывают послевоенную кинохронику: «Труженики колхозов и совхозов перевыполнили план поставок...» Видел я и слышал, что творилось за кадром, со школьных лет в летние каникулы пас ночное, слышал не голос диктора, а голоса тружеников колхозов и совхозов.

Ссылаются, восхваляя наши успехи, на статистику, а можно ли верить статистике? Не верю глазам своим, когда цифры погибших по ходу репрессий приводят из официальных источников. «Подлинных цифр никто никогда не узнает» – говорится в «Деле Тулаева», создан роман чудом оставшимся в живых очевидцем и жертвой им описываемого.

<sup>51</sup> Моя бабушка Мария Максимовна Френкель (1881 – 1932), зубной врач, из литовских евреев, владели производством каменных плит – видел их вензель на тротуарах в Друскениках, из местного музея мне сообщили: предприятия Френкелей были в Литве повсюду. Диплом дантистки Мария Максимовна получила в Париже, продолжить образование не удалось: не принимали женщин. Вольнослушательницей прослушала в Лозанском университете курсы по философии, истории, литературе и политической экономии, этот курс читал Парето. В Петербурге Мария Максимовна имела зубоврачебную практику, одним из её пациентов оказался Дед Борис. Их первенец, сын Анатолий скончался во младенчестве, дочь Ирина – моя мать. С 1916 г. и до конца её дней бабушке, которую я не застал, пришлось лечиться от ракового заболевания.

В сфере мне близкой, книжной, я слышал, что тиражи завышали, выпуская будто бы миллионами книги, которых нельзя было достать, хотя, судя по статистике, наша земля должна бы оказаться усыпана книгами, каких в книжных магазинах не видели.

Даже если верить статистике, цифры говорят о государственном росте, но вот сейчас в Америке национальный валовой продукт растёт и растёт, а доходы граждан понижаются. Нас тот же парадокс, который Бухарин назвал «своеобразными кризисами», преследовал на протяжении всей советской истории. Наше своеобразие: промышленные и научные достижения без житейски необходимого. Насколько перевыполнялись поставки, люди не чувствовали, не чувствовали даже те, кто поставки перевыполнял. Как в песне, ракеты в космос, до звезд достали, а на земле в сельских магазинах – водка и селедка!

В подмосковном селе Иславском, рядом с конзаводом, где я бывал, возле селпо, куда я заглядывал, стояла статуя Ленина. Ильич, по замыслу скульптора, должен был решительным жестом звать на борьбу, но ирония истории придала фигуре вождя вид злой карикатуры – какой-то лысый сорвал с головы кепку, развел руками и, кажется, вопрошает: «Это что же такое творится?!» Творились жертвы житейскими потребностями, удовлетворением которых обеспечивается устойчивость западных стран. Советский народ, говорит английский историк, выстоял во Второй Мировой войне такой ценой, какая не могла быть уплачена демократическим обществом<sup>52</sup>. Выстояли, защищая Родину, но в мирном сосуществовании экономических систем потерпели поражение. Думать иначе – искать пятый угол и выдавать желаемое за действительное.

По мере общения с моими единокровными, приехавшими проститься с Дядей Костей, поймал я себя на мысли, смутившей меня. От своих исходила эманация собственничества, и я испытал бифуркацию, раздвоение чувств, тепло родственности с ненавистью социальной: «Своими бы руками порешил!»

Предателем своего класса становишься, пользуясь преимуществами, какие твой класс сумел отвоевать, а когда, как Гулливера, время привяжет тебя рядом с предком, начинаешь нос воротить от арбориальных праотцов. Чтобы очиститься от дурных чувств, я попробовал вызвать катарсис, рассказ написал и прочел матери моего друга.

Семья моего друга связана с Московским Художественным театром и Московской школой генетики. Генетика со временем погорела, а благодаря Художественному театру их дом превратился в плот Медузы, на который, ища спасения от социальной бури, вскарабкались кто только мог из представителей отошедшего мира. Словом, оазис былого. У моего друга в гувернантках (да, гувернантках) служила обедневшая миллионерша (с портрета Серова), она обучила моего друга манерам, французскому языку и дала ему прозвище Буба, от немецкого *bube* – проказник<sup>53</sup>. Мать моего друга, потерявшая с революцией прядельную фабрику и доходный дом у Красных ворот, объяснила, что в моем повествовании сказывается: «Нет у тебя чувства собственности». У меня многих чувств не имеется. Родители хотели определить меня в музыкальную школу – у меня не оказалось слуха, занялся конным спортом, на конюшне нашли, что я лишен *чувства лошади*. Будь у меня понимание людей или, как говорит моя жена, способность понимать другого человека, стал бы писателем.

---

<sup>52</sup> Так говорит один из очень немногих иностранных историков, признающий во Второй Мировой войне решающую роль русских, тождественных для него с людьми советскими. См. Max Hastings. *Inferno. The World War, 1939–1945*. New York: Knopf, 2011, pp. 642–647.

<sup>53</sup> Не шушу: Буба – единственный, знающий, как себя вести, как пользоваться вилок и ножом и т.п. Причем, это знание, внушенное ему «бывшими», ставило его в нелепые положения, поскольку вращался он среди понятия не имеющих о хорошем тоне. Однажды были мы с ним у приятеля. Засиделись до полуночи. Жил наш приятель в малюсенькой комнатухе вместе с матерью и младшим братом. Матери на другой день идти чуть свет на работу, она прямо при нас уснула. Чтобы не разбудить усталую работницу, мы уходили на цыпочках. А Буба останавливается на пороге и произносит: «Au revoir, дорогая Вера Степановна». Та вскакивает: «Что? Горит?!»

«Моя мать завернула листовки в пеленки и прошла мимо полицейских».  
*Из книги моего отца о Диккенсе*<sup>54</sup>.

Рассуждая о поэзии семейственности в романах Диккенса, отец вспомнил эпизод из нашей семейной истории, упомянутый в книге о событиях 905 года<sup>55</sup>. В революцию Пятого года Баба Настя уберегла семью, после Семнадцатого хранила веру. Уцелел её Новый Завет, на котором детским почерком бабушка вывела своё имя, тем самым давая знать, что не собирается расставаться с этой книгой. Она же одолела, шевеля губами, два тома «Саги о Форсайтах», и когда я у неё спросил, о чем это, бабушка с едва слышным вздохом ответила: «Про ихну семью». Вздох выражал сочувствие прочитанному. Баба Настя – мать семейства, но ей не подчинялись, прибегали за помощью «на подхвате». Какова была её жизнь, я узнал из писем матери своему отцу. «Что за патриархальщина!» – поражалась дочь инженера, очутившись в семье, которая ещё пахла деревней.

Бога у дедов, как у Чехова, уже не было, и если Чехов не забывал ни церковных служб, ни молитв, ни поэзии верований, то и деды мои помнили те же молитвы и службы, но верить не верили. Называют верующих ученых, однако, что подразумевали ученые, говоря о Боге? За верования, такие, как у Тестюта де Траси и Вернадского, на кострах жгли во времена веры. Разграничение произвёл Толстой: истинная вера простодушна, как у безграмотной старушки (похожей на мою бабушку), а у Владимира Соловьёва – софизмы. Чехов писал: «Интеллигенция только играет в религию, и главным образом от нечего делать». «Причудами сытых людей» назвала интеллигентскую религиозность Лидия Вячеславовна Иванова, дочь лидера религиозного символизма. По Вильяму Джеймсу, люди верят в силу will to believe, хотят верить, и мистика устоев существует всюду. Наши новейшие консерваторы, следуя российским реформаторам катковского толка, принимают веру за данность в противоположность договорным основам западной государственности. Но ведь то умственные конструкции, а факты формирования государств им не соответствуют, святость веры, прочность договоров лишь условность.

В 2006 г. мы с женой ездили к дальним родственникам в Италию, побывали в Ватикане, видели росписи Сикстинской Капеллы. Можно понять неудовольствие Папы Сикста этим шедевром изобразительного искусства – небесное сведено к земному: на потолке – тела, плоть людская. Входишь в прославленную часовню и упираешься взглядом в круп боевого коня и пятку поверженного воина. «Сим победише!». *Мечом?* А как же христианская заповедь «Возлюби врага своего»?

Вера осквернялась, чтобы заключить договор, договоры нарушались во имя веры. Иначе на словах, на деле – одно и то же. Государственные мужи судят, как гоголевский Городничий. Что Антон Антонович отвечает обеспокоенной супруге? Анна Андреевна, поражаясь побегу Хлестакова из-под венца, ссылается на таинство обручения. *Городничий*: «Обручился! Кукиш с маслом – вот тебе обручился! Лезет мне в глаза со своим обручением!» Великий русский писатель, поборник веры, из жизни взял этот цинизм, теперь называемый прагматизмом.

В нашей семье Бога не стало ещё до революции, не было и безбожия, богохульства я не слышал. Образование потеснило веру, но оставалось частью культуры Священное Писание. Уцелела у нас Библия, первое издание на русском языке, то самое, что после многолетних клерикальных интриг вышло наконец во второй половине XIX века.

С годами столетний переплет стали точить жучки. В Институте Мировой литературы работал переплетчик, и я попросил его переплести Святое Писание заново. Мастер-художник каждую книгу читал, чтобы подобрать переплет, и Библию вернул в новом прекрасном одеянии, но... без начала. А где же первая страница – «Бог создал небо и землю...»? Страницу

<sup>54</sup> М. В. Урнов. Неподражаемый. Чарльз Диккенс – издатель и редактор. Москва: «Книга», 1990, С. 173.

<sup>55</sup> И. Н. Павлов, Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской губернии. Москва-Ленинград, 1926, С. 37.

сильно попортили жучки, так объяснил переплетчик. «Кроме того, должен тебе сказать, – добавил он самым серьезным тоном, – прочитал я эту страницу и ничего существенного там не было». Что хаос мироздания человеку после всего, что этот человек повидал!

Переплетчик, инженер по образованию и довоенному роду деятельности, до войны был послан работать в Германию, там с началом войны его в целой группе наших специалистов «забыли», после войны извлекли, доставили обратно и в подвале ИМЛИ его спрятал директор Анисимов Иван Иванович.

У нас в семье атеистов, однако искушенных начетчиков, отмечали Рождество и справляли Пасху, красили яйца, пекли куличи, всё – ритуально, не религиозно. Семейное окружение уберегло меня от хамского атеизма и лицемерного пиетизма. Дед Вася повёл меня в соседнюю Церковь Ивана Воина, чтобы объяснить службу. Он же мне толковал Ветхий и Новый Завет, что убедило меня в несовместимости веры и знания.

Дед Борис взял меня с собой на экскурсию в Кремль, это ещё в сталинские времена, в список экскурсантов его включила жена Маленкова, заместитель директора Института истории естествознания и техники. Едва мы, дыхание затаив, вступили через Боровицкие ворота на недоступную землю, в пустынный, стерильно вычищенный Кремлевский Двор, где, как теперь известно, тосковала Светлана Иосифовна, дед стал расспрашивать у охранника: «Здесь церквушка стояла, где же она?».

Далась ему церквушка! Войти в Кремль значило удостоиться доверия, которое лучше не нарушать. Безразличный к церковности, я всё же чувствовал опасную заинтересованность, с какой дед пристал к охраннику. Тот вежливо отозвался незнанием, а дед мне рассказал, что дядя у него был церковным старостой по соседству, в Храме Христа Спасителя, бывая у дяди, дед проходил через Кремль. Мы с ним той же дорогой прошли мимо Царь-Колокола, и дед сказал, что раньше из пробоины шел смрад, кремлевской достопримечательностью пользовались как уборной.

На Троицу Дед Борис ставил в стакане с водой ветку сирени: в память о чудесном спасении в тот день его отца-машиниста. Рассказ об этом повторялся множество раз. У деда из Артиллерийской школы, где он учился, сохранилось пособие – атлас паровоза, раскладной и красочный, похожий на билибинские картинки в книге сказок, и я мог увидеть устройство локомотива. В технических терминах Дед Борис описывал, как его отец вёл товарный состав, груженный бревнами для *шпалопроточного завода, компаунд* ударился о бревно, упавшее с *платформы* предыдущего состава, паровоз сильно покачнулся, прадед, падая, ухватился за *ресивер*, рукоятку, выпускающую пар, и ему по локоть обварило руки. На полном ходу падение было бы смертельным, но прадед успел притормозить: *за несколько минут до крушения ему явилась Богородица и предупредила о завале на пути*.

Раньше в тот день семья служила молебен, на мой век осталась ветка сирени: омирщение веры и неутрата священной памяти. Рассказы Деда Бориса о чудесном явлении помешали мне присоединиться к верующим и неверующим. Называющие себя верующими мне напоминают Т. С. Элиота, о нем, литературном диктаторе XX века, сказано: *верить хотел, а веры у него не было*. Дед, человек того же поколения, верить не верил, но традиционно принятого придерживался. Когда почувствовал опасность смерти, стал просить прощения у дочери, моей матери, а отношения у них были давно испорчены. Приехала скорая помощь забирать его в больницу, и он жалобным тоном произнес: «Доктор, зачем? Дома и стены помогают!» В голосе слышалось убеждение, что так надо. Помогают стены или нет, но есть вещи, от которых нельзя отречься.

Дед Вася расстался с верой, хотя когда-то собирался идти в монахи. Его близкий друг принял постриг и после обращения прислал деду свою фотокарточку в рясе, карточка сохранилась, на ней написано: «Благодарю тебя за то, что наставил меня на путь истинный». Друга наставил, а сам уклонился.

Книжные понятия, какие мне попадались в учебниках, – монахи, кулаки, эсеры, меньшевики, большевики, лишенцы – воплощались близкими родственниками. Плащаницу я пережил. В Пасхальный канун Баба Настя взяла меня в церковь, священник, цепко ухватив меня за голову, пригнул к простертой фигуре и говорит: «Целуй, мальчик! Целуй!» Приложился я, потом ночь не спал, виделся мне гроб. Поход наш был тайным, все всполошились: что со мной? Бабушке досталось.

Читая чеховских «Мужиков» и «В овраге», я вижу свою Бабу Настю как живую: «Лицо её светилось радостью, она ходила на ярмарку, как люди, пила там грушевый квас...». Работала не покладая рук, у меня в глазах рябило. Деда Васю я спросил, почему бабушка не посидит спокойно: варит, подметает... Придерживаясь крестьянского воззрения «курица не птица», Дед Вася отвечал: «Это что! Ты бы на её мать посмотрел: с поля придет и разогнуться не может, разгибалась постепенно». Тенью помню прабабушку Прасковью. Моя мать сделала с неё набросок: наши семейные черты, длинный нос, прямой, у меня от примеси загнувшийся книзу.

Marie Frenkel

*С визитной карточки.*

Мария Максимовна училась на дантистку в Париже, а её двоюродный брат был модным парижским психиатром, и у него консультировались Мопассан и Поль Бурже. Их бабушка не застала, с двумя пациентами, Эдмоном Ростаном и Саррой Бернар успела познакомиться, с Бернар подружилась. Обо всем этом Дед Борис оставил памятную записку, и когда в середине семидесятых годов я в группе Общества Дружбы попал во Францию, то хотел отыскать своих родственников. Но если имена известных писателей и знаменитой актрисы дед написал отчетливо, то фамилия врача у него вышла неразборчиво, а станешь расспрашивать, пожалуй, и не пустят – не поедешь, раз у тебя за границей родственники. Прочел я, как прочел *доктор Градиш* и, понятно, нужных мне людей не нашел. В середине 80-х уже можно было позвонить тетке со стороны матери, чтобы уточнить фамилию. «Го-ро-ди-ще» – прошептала Раиса Максимовна, будто шепот не прослушивался. Прослушивался или не прослушивался наш с теткой разговор, но нашептанной мне фамилии я не мог найти в биографиях перечисленных дедом знаменитостей. К счастью, в Югославии на ПЕН Клубе, когда мы обсуждали Оруэлла, встретился я с Веркором, он подтвердил: «Леон Городище» и сообщил, что жива его дочь Таня. Брат Сашка поехал в Париж на конференцию, и по телефону поговорил с троюродной теткой: помнила нашу бабушку.

Мария Максимовна скончалась до моего рождения, но, судя по фотографиям, я напоминаю её неправославной внешностью. Сужу о ней по рассказам. Беспристрастный рассказчик – «Маруся», Мария Федоровна Лапшинова, из крестьянской семьи. В Москву Маруся переехала с коллективизацией, поступила к нам домработницей, после кончины бабушки стала женой деда. Мать с Марусей не ладили, но не виденную мной бабушку Маруся вспоминала, как свет своей жизни. Мария Максимовна научила её грамоте и делать гренки, то есть тосты, а также *les pommes de terre frites*, картошку жаренную по-французски, в американском варианте *french fries*. Маруся была на трудовом фронте, рыла окопы под Москвой, едва умея писать, способствовала изучению истории воздухоплавания, во время войны помогала деду спасать Архив Циолковского. В хозяйстве при аэродроме на берегу Иртыша (там отбывал заключение Королев) работала скотницей, в Москве служила уборщицей в магазине, кочегаром в котельной, курьером в Художественном театре и вахтёром в ДОСААФ. О Марусе, после кончины деда, писали корреспонденты, которым удалось её расспросить о людях воздуха, приходивших к нам.

## Пристрастия

*«Советую всем крестьянам стараться как можно более строить  
школ и обучать детей».*

*Из письма Тузова Успенскому.*

С тех пор, как себя помню, я думал: живут для того, чтобы стучать молотками. У Деда Бориса молотки слесарные, у Деда Васи – сапожные. Дед Борис, отрываясь от письменного стола, брался за полувековой давности молоток или клещи, правил старую, сверкавшую как новенькая, пилу или налаживал мягко жужжавшую дрель, и движения его походили на жесты музыканта, собиравшегося играть на скрипке.

Дед Вася, некогда сидевший на липке, низенькой скамейке, умело, с одного-двух ударов, всаживал гвозди куда требовалось, и удар молотка, судя по выражению его лица, служил для него сигналом социального подъема: не подметки прибавал, а вгонял гвозди в гроб прошлого, хотя тем и занимался, что переживал свое прошлое заново.

*«Что касается меня лично, я смотрел на представителей литературского  
сословия как на богов...»*

*Эдгар По. «Литературная жизнь Каквастама» (перевод моего отца).*

На смену стремлению стучать молотком пришло у меня желание скрестить пером. Моя внучка трех с половиной лет на вопрос, кем она хочет стать, ответила: «Буду на золотой цепи вокруг дуба ходить». Ей уже читали «У лукоморья дуб зеленый», и она мечтала стать «ученым». Внучку вдохновлял пример: «Как папа!» В том же возрасте я думал: *жизнь живется, чтобы макать в чернильницу перо и водить им по бумаге*. Так писали деды, писал отец, писала мать, придёшь в гости к родственникам – пишут. Чтобы я тоже мог буквы выводить, Дед Борис возле своего письменного стола поставил старинный детский столик.

В мои времена писали, когда не хватало и бумаги. Отец по линии ВОКСА ездил в Финляндию с Леонидом Леоновым, и наш крупный писатель обратно в качестве сувенира вез бумагу. Дед Борис пишет-пишет, лист перечеркнет, перевернет и с другой стороны опять пошел писать. У Деда Васи писчей бумаги я и не видал, он писал, как школьник, в тетрадках, ему тетка-учительница приносила, дедушка даже обложки исписывал. Из живого уголка тетка принесла ящерицу. Стал я её от края аквариума оттащить, а ящерка хвост в руках у меня оставила и сбежала. Жертва ради выживания всплыла в памяти в годы перестройки, когда на самом верху стали отсекают своих, словно теряя хвост и выбрасывая балласт.

У нас дома в шкафах за стеклом и на книжных полках я видел Собрания сочинений, пробовал их читать и сам принялся сочинять стихи, прозу, дневники и письма. Намерение писать сменилось вопросом, о чем же писать. Писать, оказалось, мне было не о чем. Люди, чувства – слова не идут, не получается, по выражению, какое услышу от моих студентов. Имеющие о чем писать, идут от жизни к чтению книг, меня малость жизненных впечатлений оставила внутри литературы, писать мог о том, как писали другие. Изнуренный спорами со мной Дед Вася предсказывал что я, похоже, стану критиком. У него в шкафу я нашел даже с дарственной надписью «Легенду о Белинском» Юлия Айхенвальда. Критик был беспощаден и к Белинскому и ко всем другим писателям, кого не упомянет, я тоже написал критику Корнея Чуковского.

*«С одной стороны – “твердый” курс буржуазии, с другой – утопические  
настроения демократической и социалистической интеллигенции».*

*М. Балабанов. «Очерки по истории рабочего класса в России». Киев:  
Издательство «Сорабкон», 1924.*

Ветвь урновско-тузовского семейного древа уцелела благодаря соседу. С началом коллективизации ехал Дед Вася в родные места, на станции Шаховская Виндавской (Рижской) дороги встретил односельчанина, тот предупредил: «В деревню не суйся». Дед, едва сойдя с поезда, сейчас же сел на поезд, шедший в обратную сторону, в Москву, куда он успел перевезти семью.

Дед Вася, сельский учитель, мог бы, как он говорил, стать министром: в очередь с Керенским с той же трибуны выступал. В Музее революции разрешили мне просмотреть подшивку газеты «Солдат-гражданин», прочитал я речь, которую Дед Вася закончил здравицей Керенскому, вот и сейчас на фотографии в американской книге о Керенском вижу их рядом. Член Временного правительства Прокопович приезжал к деду советоваться. Приходила в Моссовет на председателя-солдата посмотреть княгиня Шаховская, наша бывшая барыня: мы некогда принадлежали Шаховским. Достались нам остатки барского добра: у княгини, перед её отъездом за границу, дед приобрёл дожившие до моих времён буфет, диван и стулья. Это, когда совершилась революция Февральская, совершилась и Октябрьская. Дед стал работать в Центросоюзе, но его «вычистила» Землячка, она же вынесла смертный приговор сыну Шмелева. Дед Вася отделался чисткой. «Кто ж его не знает!» – сказала Розалия Самойловна, и стал дед лишенцем, об этом он снова и снова рассказывал, когда я у него гостил.

Мы с ним прогуливались по Замоскворечью, дед подводил меня на Пятницкой к небольшому домику с большой мемориальной доской и женским барельефом, указывал на барельеф и говорил: «Она меня и вычистила». Прогулки с Дедом Васей повторялись, повторял дед и свои рассказы. Повторял, потому что воспоминания, о которых он по условиям времени опасался писать, грызли его. «Ну, был бы я министром, пусть без портфеля...» – вспоминая времена своего наибольшего подъема, рассуждал дедушка вслух сам с собой наедине со мной. У него политические страсти не угасли, и он, себя успокаивая, себя же убеждал: «Сделался бы прислужником капиталистов». А я удивлялся, как это взрослые не боятся жить среди напоминаний об исключениях *из*, привлечении *к* и преследованиях *за*.

Дед Борис, фабричный рабочий, выучившийся за границей на инженера, оказался разоблачен как лжеучёный. Лишенец со лжеучёным между собой не знали, встретились однажды, и тот, что из крестьян, тому, который из рабочих, сказал: «Ты мужик и я мужик», а из рабочих отвечал: «Прошу прощения, я – не мужик». Больше они не виделись. Когда я дорос понять причины разрыва, то, не забывая наглядный урок политграмоты, осознал, что такое классовые конфликты, принципиальные разногласия и противоречия развития.

«Моя мать родилась при крепостном праве», – говорил и повторял Дед Вася, обозначая исходный пункт нашего *прогресса*. Крепостное право оставило России разрушительное убеждение: труд – удел рабов, *люди* не работают. По моим дедам я видел: один усвоил протестантскую трудовую этику и работал с удовольствием, другой, быть может, и работал не меньше, но для него это была повинность. Если дедушки гладили меня по голове, я чувствовал, одна рука была мягче, цивилизованней, но слова, чтобы определить своё ощущение, я, разумеется, ещё не знал.

Различие двух семейных ветвей начиналось с районов, где мы жили. Москва, согласно расселению нашей семьи, была в моем сознании поделена между Пушкинской площадью и Замоскворечьем. Всё ещё деревенский дедушка с полуграмотной бабушкой жили по другую сторону Большого Каменного моста, на Большой Якиманке, там пахло дымом, топили дровами, и, проходя с гулом, был слышен каждый троллейбус, но большей частью, особенно ночью, стояла тишина. В Бабегородском переулке уцелело частное домовладение: изба за высоким забором. Просто последнее удельное княжество, динозавр, сохранившийся в наших лесах. Дед Вася был знаком с хозяином и заходил к нему потолковать, о чем говорили, не рассказывал, через забор слова не перелетали.



Дедушка индустриальный жил вместе с нами на Страстном бульваре, у него была своя комната. Это возле Пушкинской площади: запах бензина, трамвайные звонки, автомобильные гудки, никогда не умолкавший грохот. На Страстном картошку жарили *по-французски*, тоненькими ломтиками. В Замоскворечье варили и ели, посыпая крупной солью – хрустела на зубах. Картошку я поедал то с одним, то с другим дедом, оба священнодействовали. Что жареная, что вареная картошка, то был не завтрак, не обед и не ужин, то был застольный ритуал в несовместимых традициях.

Дед Вася, спасаясь от *коллективизации*, в деревне бросил целое хозяйство. Дед Борис тоже немало утратил по мере *экспроприации*. Переезжал он в Москву из Питера по-службе, но в условиях *жилищного кризиса* мебель из петроградской квартиры оказалась не по размеру, и была не расставлена, а громоздилась. «Дедиком», как называл я дедово обиталище на Страстном, была набита, помимо книг, разными предметами, которые он приобрел, получив за границей инженерный диплом. От автомобиля «Бенц» (ещё без «Мерседеса») остались свечи для зажигания. «Свечи Боша, – говорил дед, – лучшие в мире». «Лучших в мире вещей» у него хранилось видимо-невидимо, не выбрасывалось ни-че-го. Лучшая на свете аппаратура – это были всего лишь детали уже отсутствующего механизма, либо механизм целиком, но, увы, неупотребимый: под потолком висел велосипед, потолок высоченный, комната – часть разгороженного бального зала, велосипед первобытный, с деревянными ободами колёс и без свободного хода – убиться можно! Были предметы, названия и употребления которых я не знал, но играть ими играл, и лишь со временем узнал, что это – первый, не похожий на радио, давно умолкнувший приемник, это допотопный, уже не действующий, пылесос, а это, с обломанной стрелкой – метроном. Сокровища хранились в пыльных картонных и старых фанерных ящиках, были запихнуты за шкаф или спрятаны под кровать, исключая висевший велосипед.

Сейчас обладатель такой, с позволения сказать, «коллекции древностей» выставил бы всё на показ и взимал мзду за посещение частного музея. А домашние говорили «Хлам!», деда называли Плюшкиным, но детали утраченных механизмов и даже неведомо чего обломки для него не были бросовым ломом и собранием раритетов. Пусть полусломанные и уже бесполезные, это были ступени технического прогресса, в котором дед участвовал, начавши трудовой путь токарем минной мастерской Обуховского завода.

В город семейные ветви тянулись постепенно. Со стороны моей матери это произошло раньше, по мере того что в книгах называется «обнищанием деревни» и «приростом фабричных рабочих»<sup>56</sup>. Прадед Никита Матвееч Воробьев водил товарные поезда, и вся семья по ходу демократизации двигалась, как товарный состав. В товарняках мне случалось путешествовать с лошадьми. Составы на каждой узловой подлежали переформированию. Лежа на сене и чувствуя толчки, я думал: «Так и мы: нас тащили и дергали, вперед-назад, то пропускали, то задерживали».

Сохранилась у нас большая групповая фотография: черные костюмы, белые манишки, лица, исполненные чувства собственного достоинства. Показать кому эту группу, пожалуй, скажут: «Думские гласные перед заседанием» или «Дипломатический корпус решил сфотографироваться, прежде чем идти на прием». А это служащие депо под Петербургом. Сын одного из этих гордых своим положением машинистов, Дед Борис, получив за границей инженерный диплом, получил письмо от отца. С годами бумага пожелтела, но не потускнела энергия восторженного обращения в начале письма от 22 августа 1909 года, слова, выведенные старательным пером, выглядели высеченными на скрижали. Привожу, как написано: «*Новоявиви́йся Инъженеръ! Апотому Сердечно Поздравляю Тебя Сполучениемъ Желанного зватя Инъженера,*

<sup>56</sup> См. М. И. Туган-Барановский, Русская фабрика в прошлом и настоящем. Москва: «Московский рабочий», 1922, С. 265–285.

*Поэтому случаю и я Свидетельствую тебе Мое Великое удовольствие, и очень Радъ Твоему Успеху».*

Когда я подрос и смог прочитать письмо, удивить званием инженера было нельзя, зато дед не забывал, как с инженерным дипломом он от заводского станка поднялся буквально до небес. До конца своих дней, помня о взрыве, каким явился для него социальный подъем, дед подписывался: *Инженер Воробьев*.

Образование сделало деда «человеком воздуха», как называли первых авиаторов, для Всероссийского Общества Воздухоплавания он редактировал «Вестник воздухоплавания», выпускал и собственный журнал «Мотор», поместил в журнале отчет о Воздухоплавательной выставке 1912 г., опубликовал интервью с конструктором Сикорским, а также поместил статью о своем друге и тезке Борисе Луцком, создателе авиадвигателей (до этого Сикорский на самолеты собственной конструкции ставил моторы иностранные).

Октябрьская революция деда, конечно, приобидила, лишила большой петербургской квартиры, немецкой автомашины, но и дала, расширила сферу деятельности, увеличила круг международных знакомств. В Обществе «Аэро-Арктика» Дед Борис с Фритьофом Нансеном и с Умберто Нобиле обсуждал планы достижения Северного полюса. Доверили деду работать в Липецкой летной школе: сверхсекретное военное учебное заведение, созданное в начале 1920-х годов по негласному договору с Германией. В Липецке учились одни немцы, уже после того как все они уехали, в школу поступил сын Сталина Василий.

О жизни в Липецке я слышал от матери, дед не сказал ни слова, об этом нет ничего даже в его служебных анкетах<sup>57</sup>. Сохранился его обширный доклад о командировке в Германию, где он осматривал самолетостроительные заводы. Нет у Деда Бориса в анкетах и названия завода, на котором он работал в середине 20-х годов. Мать говорила – в Филях. На заводе «Авиаприбор»? Там в 1926 г. с речью выступил дедов соредатор 905 года – Троцкий, после чего в Партии началась открытая фракционная борьба, и в 1927 г. Троцкий оказался выслан из Москвы, в том же году дед стал работать в Мобилизационно-плановом отделе ВСНХ, а с 1930 г. преподавал историю летания в Московском авиационном институте (МАИ). Но инженерное продвижение застопорилось. Отстал ли дед от времени, как считал ещё молодой, но уже ведущий конструктор Александр Яковлев?<sup>58</sup>

Этому я не судья. Возможно, в сфере, где был дед одним из первых, он стал историей, но, как история живая, истово трудился над сохранением памяти о родоначальниках отечественного летания. Лекции деда были, видимо, густо насыщены. Кто его слушал, те вспоминают о нем и сейчас (в том числе, по иронии судьбы, кажется, потомки конструктора Яковлева)<sup>59</sup>. Если из авиации деда оттерли в историю авиации, диссертации не дали защитить и отлучили от пре-

---

<sup>57</sup> Неутомимый мастер поиска, историк техники А. В. Фирсов нашел и уточнил: «В начале 1926 г. Борис Никитич был направлен на работу на секретный объект “Липецк”, расположенный в городе Липецке. На этом объекте находилась немецкая военная летная школа, замаскированная под авиаотряд Рабоче-крестьянского военно-воздушного флота. Объект был создан немцами в 1925 г., после подписания в Москве 15 апреля 1925 года секретного соглашения между Управлением военновоздушных сил РКК и представителями немецкой стороны. “Липецк” был первым и самым крупным военным объектом на территории СССР. На объекте “Липецк” проводились не только обучения немецких и советских военных летчиков, но выполнялись и опытно-исследовательские работы. Для более полного использования опыта и технических достижений немцев к объекту “Липецк” была прикомандирована группа советских инженеров-конструкторов, среди них был и Б. Н. Воробьев» («Борис Никитич Воробьев – создатель первого авиационного мотора АО «Мотор Сич». Запорожье: Изд-во АО «Мотор Сич», 2016, С. 82–83).

<sup>58</sup> См. А. С. Яковлев. Цель жизни. Записки авиаконструктора, изд. 3-е доп., Москва: Издательство политической литературы, 1973, С. 102.

<sup>59</sup> См. Е. А. Яковлев. О научно-исследовательской и учебно-педагогической деятельности Б. Н. Воробьева. Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, г. Калуга. Секция «Исследование научного творчества К.Э. Циолковского», 2007 г. (с Интернета)

подавания, то надо радоваться, ведь сажали по тюрьмам, словно в клетки, чтобы не пожрали друг друга<sup>60</sup>.

«А из паровозной будочки, из окна, смотрел машинист».

*Борис Житков. «Что я видел».*

Нет, казалось, привлекательнее позы (слово я уже знал), высунувшись из окна паровозной будки, устремлять вперед свой взгляд. Так смотрел мой прадед, так написано в любимой книге «Что я видел». Наш семейный фольклор – паровозы, но окружали меня приметы следующей технической эры воздухоплавания, модель дирижабля на книжном шкафу. В одна тысяча девятьсот одиннадцатом году, говорил дед, вошло в оборот слово авиация, а до этого говорили динамическое воздухоплавание, до моторов и пропеллеров называлось свободным. На письменном столе у деда лежали рекламные копии пропеллеров, над столом на полке книжные корешки: «Из пушки на Луну», «Прыжок в ничто», «Первый удар»... Книги, подрастая, я читал, многие были надписаны авторами в подарок деду.

Одну надпись я запомнил: «профессору» с одним с на титуле книги «Ракета в космическое пространство», год издания 1934-й. Профессорского звания дед (из-за доноса) так и не получил, а значение имени на обложке небольшой книжки я осознал с началом эпохи космической. Полетел первый Спутник, и дед, отвечая нам с братом на вопрос, кто же такой «Главный Конструктор», произнес, как отчеканил, открывая по секрету то, что ещё оставалось тайной: «Сергей Павлович Королев».

Интересно бы узнать, но, увы, не узнаешь, была ли в дарственной описки или же сознательное следование Далю, который настаивал на одном с. Признак принадлежности *своему времени*. Какому?

Дедов письменный стол, шведский, со множеством ящичков и выдвигающейся крышкой, – это был таинственный мир, такой же стол, разве что поменьше, много позднее я увидел через площадь, в квартире Андрея Платонова. У деда на столе и вокруг стола лежали брошюры с именем ЦИОЛКОВСКИЙ, иногда с клоунской буквой Щолковский. Брошюры – о летании, то на аэроплане, то на дирижабле или на ракете. Одна брошюра называлась таинственно «Монизм вселенной», другая была печальной «Горе и гений». «Что это?» – спросил я деда. «Мистика», – был ответ, по тону неодобрительный.

Технически образованный и начитанный человек *своего времени*, дед был и оставался противником того, что развилось в полурелигию *космизма*<sup>61</sup>. Начавший переписку с Циолковским в 1911 г., он поддерживал технические мечты калужанина, однако не принимал его потусторонних настроений. Некоторые письма, мать вспоминала, бросал в корзину возле письменного стола. В те годы умнейшие, однако растерявшиеся люди начали и продолжали бредить, скажем, о выведении образцовых советских людей, над чем посмеялся Булгаков, что ему дорого обошлось, бредили люди со связями наверху, для здравомыслящих это было невыносимо.

Ныне натыкаюсь на упреки деду в том, что в трудах Циолковского он де «выкорчевывал» космизм. «Выкорчевывал»! В сороковом году в биографии Циолковского дед первым сформулировал: *мистически настроенный философ Федоров мог подсказать молодому пытливому человеку направление мысли космическое*. Удостоверил и больше ничего, в сороковом году

<sup>60</sup> Чертеж и описание мотора Кондор мощностью в 650 л. с. Б. Н. Воробьев в 1924 г. предоставил сотруднику Особого технического бюро по военным изобретениям специального назначения (Остехбюро), ленинградцу, инженеру Петру Георгиевичу Ковалеву, тот передал чертеж во временное пользование тогда ещё рядовому инженеру А. Н. Туполеву, работавшему в ЦАГИ. Ковалев был арестован 6 ноября 1936 г. по обвинению в измене родине, 9 мая 1937 г. приговорен к расстрелу Военной Коллегией Верховного суда СССР, 10 мая 1937 г. приговор был приведен в исполнение, впоследствии приговор был признан необоснованным. См. А. В. Фирсов. Указ. кн. С. 82.

<sup>61</sup> Сторонники космизма, когда им не угрожает цензура, так и говорят о «теософии космизма». См. В. И. Шубин. «Кант и Вернадский» в сб. «Кант и философия в России». Москва: «Наука», 1994, С. 223.

могли и за такое утверждение проработать, но книгу поддерживал давний друг деда – академик Ферсман, благодаря его отзыву дали за книгу премию. В 50-х годах, когда вместо поддержки дед был окружен ошестившейся стаей борцов с космополитизмом, не мог объявленный лже-ученым и не получивший профессорского звания протаскивать в советскую печать тексты, в которых любой псевдомарксистский старатель откопал бы чуждые нам воззрения и сообщил о находке куда следует.

Смелчаки не нашего времени ставят деду в вину невыход пятого тома сочинений Циолковского с философскими статьями. Но кто же был Ученым секретарем издания и принимал участие в подготовке тома? А почему том не вышел, могут не понимать люди, не жившие в наше время. Вопрос о выходе решался академической иерархией, в которой дед, преклонных лет младший научный сотрудник, занимал последнее место. Даже занимавший на той же лестнице одно из первых мест, член Редколлегии, сподвижник Королева, профессор А. А. Космодемьянский в своей книге советских времен не коснулся космизма, то есть идеализма. Или космизм не идеализм? Не мистика? Спрашиваю безоценочно, сейчас верить не запрещается, а тогда идеализму была дана оценка что называется *принципиальная*, то есть уничтожающая. Вышел бы пятый том, и попала бы под удар вереница людей, которые *допустили появление порочного издания, дающего искаженное представление о наследии великого русского ученого*<sup>62</sup>.

«Вы не побоялись трудностей».

*Из письма М. П. Алексеева.*

...Не побоялся я трудностей, каких не смог преодолеть академик. Речь шла о втором томе «Приключений Робинзона Крузо», так называемых «Дальнейших приключениях». Старешина нашей профессии не опубликовал «Дальнейших приключениях» из-за страниц, ради которых и хотел опубликовать вторую часть романа, – о странствиях Робинзона по Сибири, а я, начинающий, опубликовал. Каким же образом? Росчерком пера, взял и вычеркнул непреодолимую трудность. Как же смел я надругаться над классикой? Составленный мною сборник был готов к печати, но, как на зло, в точности там, где Робинзон, двигаясь из Китая в Россию, перебрался через Амур, возникли у нас столкновения с китайцами. Не вычеркнешь – книга не выйдет<sup>63</sup>.

Когда книга вышла, я из редакции в издательстве «Правда» шёл по Новослободской улице. Иду и вижу движение толп, словно выходят после сеанса из кинотеатра или на выходной отправляются в парк, одни выходят, другие входят. Что за движение? Да это Бутырки! Ворота настежь, стрелка указывает путь в темницу, как бы приглашая в узилище. Думаю, дай зайду. Пристроился к людскому потоку и пошел. На пороге едва не столкнулся с человеком, который, наоборот, выходил. Шёл он в задумчивости опустивши голову, но что-то побудило его задержаться, словно, он ещё не решил, уйти или вернуться. Остановился и, не глядя перед собой, уткнулся мне в грудь, как боднул. Наклонился я и услышал, что, не поднимая головы, он бормочет. «Что вы говорите?» – спрашиваю. «Я говорю, – едва слышно отвечает выходявший из тюрьмы, – ядрит-твою-ма-ать». Фигура на пороге темницы представилась мне подобием байроновского узника: *не броситься*, если свободу дали, куда глаза глядят, а подумать, понять случившееся. Отпустили – торопиться некуда.

Приходилось «выкорчевывать» и самому Алексееву, но, конечно, без вандализма. Когда, начиная заниматься своей диссертацией, стал я составлять список литературы по теме «Пушкин и Шекспир», то начал по алфавиту с буквы А – Алексеев Михаил Павлович. Но вместо

<sup>62</sup> Представление о том, какие писали письма, дает составленная группой видных лингвистов «Докладная записка в ЦК ВКП(б) о состоянии и задачах советского литературоведения». Опубликовано П. А. Дружининым в электронном журнале «Литературный факт» № 3, С. 317–353 <http://litfact.ru/ru/nomera-zhurnala/37-2017-3>.

<sup>63</sup> Даниель Дефо. Избранное. Под общей редакцией М. Урнова. Редактор Издательства Н. К. Тренева. Москва: Издательство «Правда». Библиотека «Огонек», 1971. 510 стр. Тираж 376 000 экз.

фолиантов в сотни страниц под этим именем нашел всего лишь заметку «Читал ли Пушкин книгу Кронека о Шекспире?». Исследователь надеялся установить, в чем заключались собственно пушкинские взгляды на Шекспира – не расхожие мнения того времени, и пока ученый этого не установил, он не мог себе позволить взяться за фронтальное освещение темы. Библиограф, фактограф – так судили о нём, словно Алексеев только тем и занимался, что крохотборчески копил сведения. А они, кто так думали, в фактах видели чересчур мало, в чашечке цветка (вопреки совету Блейка) не могли разглядеть неба, поэтому и клубились в их воображении всевозможные облака. Между тем Алексеев помещал всякий факт в разветвленную систему историко-культурных представлений, что позволяло ему увидеть в этом факте скрытое от взора тех, в чьих глазах фактам становилось только хуже, если факты им мешали провести любимую мысль. Гуманитарий не отличался от естествоиспытателя, который смотрит в пробирки, и до тех пор, пока не загустеет, будет продолжать эксперимент.

И вот Михаил Павлович напечатал фундаментальный труд, которого я дожидался как путёвки в жизнь: необходимо было подкрепить высшим авторитетом мои соображения о *народном молчании* в «Борисе Годунове». Авторитет высказался, проследив блуждающий мотив *народ в роковые минуты истории молчит*. И что же? Бездна сведений о том, кто, где и когда в мировой литературе упоминал об угрожающем безмолвии народа. А Пушкин? Как возникла у него ремарка Народ в *ужасе молчит*? Держался я мнений тех, кто полагал, что ремарка подсказана царем, а царю – Булгариным, его секретными замечаниями о том, как следует и не следует выражать «народные чувства». Ремарка непушкинская изменила пушкинскую концепцию. Поэт хотел предупредить друзей, которые, не думая о переменчивых народных настроениях, через год станут декабристами, однако вместо легкомыслия толпы появилось напряженное народное молчание.

Что же об этом сказал бесспорный авторитет? Во всеоружии знаний ушел от вопроса. После многотрудных изысканий не сделал очевидный вывод из фактов, им же самым собранных и систематизированных. Вычеркивать рука ученого не поднималась, но не решился авторитет объявить, что у Пушкина народ безмолвствует по царскому указанию с подсказки агента Третьего Отделения. Академик испугался властей?

Это важнейший и сложнейший вопрос пережитого нами времени, и ответа пока не имеется, откуда, кем и как распространялся страх и почему некоторые не боялись. Предостаточно было людей, умных и образованных, добровольно и корыстно следивших друг за другом ради того, чтобы пожертвовать ближним и выгоду извлечь для себя. Орудием полемики вместо фактов служила псевдопатриотическая демагогия. Именно этого пошиба «патриотизм» имел в виду Сэмюель Джонсон: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Его мнение разделяли и Толстой, и Марк Твен. У нас и на Западе подоплека поклепов, смотря по обстановке, различная, но одно и то же стремление уйти от сути дела, заменив опровержения – обвинениями. Чтобы убеждениями и совестью не поступаться, наилучшим выходом было молчание: если правду сказать нельзя, то по крайней мере не говори неправды. Дед отказался от авторства своих подписных статей о воздухоплавании в Большой Советской Энциклопедии, статьи были перепаханы редакторами в нужном духе. Михаил Александрович Лифшиц от своих искаженных редакторской правкой статей не отказывался, оправдываясь тем, что у него статьи были неподписными, а другого заработка у него не было.

Не подготовил дед и второго издания биографии Циолковского, чего от него ждала и настойчиво добивалась редакция ЖЗЛ. Среди его бумаг остались панические редакционные письма: «Ждем!... Срочно!... Где же Ваша рукопись?!...» Но с началом космического века требовалось изменить порядок интересов Циолковского, а тот перед смертью писал Сталину: «Уверен, знаю, советские дирижабли будут лучшими в мире». Дирижабли! Когда мы с Генри Купером, потомком Джеймса Фенимора, посетили Циолковских, внучка вспоминала, как изменила их жизнь сталинская пенсия и как дедушка «причащал» внучат, давая по ложке

угощения ими невиданного – консервированного компота. И мой дед, зная, что в первую очередь и до конца занимало провидца, не мог в жизнеописании мечтателя поменять местами дирижабли и ракеты.

Дед, думаю, не смог бы и Сталина вычеркнуть, что оказалось сделано другой рукой, и биография провидца воздухоплавания и звездоплавания оказалась написана так, как требовалось, когда неудобопоминаемыми оказались и дирижабли, и Сталин.

Автора пошедшей в печать биографии я множество раз видел у деда, он расспрашивал и внимал. Выразил в книге признательность? Цитировал? Назвал в библиографии, по алфавиту, на букву «В», и таких благородных людей я с детских лет и до седых волос перевидал неисчислимое множество.

Символически отблагодарили деда экскурсоводы калужского Дома-музея Циолковского. Жаль, не увидел дед, что мне довелось увидеть: в лохмотья зачитанную его книгу. «По ней и ведем экскурсии», – объяснили мне сотрудники музея, им-то нужно было объяснять модели дирижабля и куски гофрированной обшивки, такие же у нас на Страстном находились в домашнем обиходе.

## Пятый океан

*«Всё выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц...»  
Гимн Военно-воздушных сил СССР.*

До войны мы с дедом ездили по ресторанам. В Новый год на Ёлку посещали «Яр», тогда Дом Авиации, теперь опять «Яр». Каждое воскресенье отправлялись к «Стрельне», ставшей и оставшейся Музеем авиации. Троллейбусная остановка так и называлась Стрельна, а перед Стрельной – Бега. Я спрашивал, что такое бега, дед отвечал: «Бегают лошади», но объяснять считал излишним всё, что совершалось на земной поверхности – не было летанием. Однако бега запали в мое сознание и с годами развились в увлечение, а увлечение в границах моего существования сделалось параллельной профессией.

В Музей Авиации дед передал первый русский авиамотор, не умещавшийся у него в комнате, под потолок не повесишь. Мне отдал старинный шлем пилота, первобытные защитные очки и свои изношенные летчицкие краги. В музее стоял истребитель, мне разрешали забраться в кабину, я поглядывал через борт и бормотал песню из кино: «В далекий край товарищ улетает...»

Стараясь заразить меня летанием, дед хотел увлечь меня в небо, «пятый океан», так начитавшиеся «Робинзона Крузо» уходили в море, а книга стояла у деда на полке во всех вариантах, и полный перевод Франковского с рисунками Гранвиля, и увлекательный пересказ Чуковского для детей, и скучные нравоучительные пересказы для взрослых. Если в небе плыл самолет, дед мне объяснял, что это за «летательный аппарат».

Один раз над нами повис дирижабль, увеличенная модель, стоявшая у деда на шкафу, и до чего же дед обрадовался – до конца своих дней оставался энтузиастом воздухоплавания. Воздухоплавателей примиряла со Сталиным расположенность вождя к воздушным шарам, о чем упомянуто в «Деле Тулаева», а портрет вождя в романе написан с натуры и с художественной объективностью, поэтому и появились беспощадные подражания шедевр Виктора Сержа. Дед, оказавшись на похоронах погибших стратонавтов рядом с Иосифом Висарионовичем, рассказывал, как он видел грусть на лице непреклонного вершителя наших судеб. Я просил деда сказать ещё раз, каким был Сталин. Дед произносил: «Печальным». Становилось мне жаль и стратонавтов, и Сталина.

Всё это умерло, ушло – так я думал. Кто станет строить дирижабли, чтобы лететь на Северный Полюс? Но попала мне книга про сталинский Арктический щит, начал читать... На столе передо мной была разложена «макулатура», машинописные копии документов из бумаг деда, возвращенных Архивом Академии Наук. Дедов фонд содержит свыше четырехсот единиц, а вернули копии. В них попадались имена Брунс и Горбунов, и я думал: отшумело, отошло в небытие! И вдруг со страниц новой книги встают и Брунс, и Горбунов, а рядом с ними «известный дирижаблестроитель Б. Н. Воробьев»<sup>64</sup>. Приводятся слова из дедовой статьи 20-х годов о воздухоплавательных путях над Сибирью. У нас хранилась стопка оттисков этой статьи: выглядела надгробной тумбой дедовским замыслом, и на тебе! Вижу подтверждение мысли Ламмене, занимавшей Горького: вечная житейская похлебка, варево в котле истории, что-то выходит на поверхность, что-то, опускаясь на дно, исчезает и снова возникает наверху.

---

<sup>64</sup> Юрий Жуков. Сталин: арктический щит. Москва: «Вагриус», 2008, С. 224-225.

## У колыбели звездоплавания

*«Человечество вечно не останется на земле».  
Из письма Циолковского Деду Борису (1911).*

Письмо, открывающее космическую эру, лежало у деда на письменном столе: угол обрезан и клякса. Слова я заучил как стихи: «... сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет всё околосолнечное пространство». Звездоплывателя я знал по фотографиям: старик с заваленки, бородатый и в валенках, это он говорил: «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели».

Приходила к деду грустная женщина, вдова космического мечтателя Цандера, того совсем забыли, и вдова просила, чтобы дед возродил её покойного мужа, как хранил он и укреплял память о Циолковском. Сейчас трудно это себе представить, но тогда требовалось укреплять: заботы о мировом пространстве не считались первостепенными по сравнению с нуждами земными, и мечты казались несбыточными. У деда была полка книг о полетах на Луну, от Сирано де Бержерака до Александра Беляева. Ленинградский писатель-фантаст присылал деду свои романы, которые я читал, и мог ли я допустить, что увижу в новостях по телевидению космические станции, предсказанные калужским мечтателем в письме к деду и описанные ленинградским фантастом в повести «Звезда КЭЦ», изданной в год моего рождения? Потрясают меня фотографии в газетах и журналах. Те же пейзажи я видел у деда в книгах Вилли Лея с картинками. Читать книги на английском я ещё не мог, но живописные изображения планет рассматривал, и вот, вижу знакомые пейзажи не нарисованными, а сфотографированными, и фотографии подражают картинкам.

Состав дедовой библиотеки определялся летанием. Мемуары Смирновой-Россет, к чарам которой не остался равнодушен даже Гоголь, попали в дедово собрание потому, что *черноокая* (Пушкин) жила – где? В колыбели звездоплавания, Калуге. Факсимильно изданные Сабашниковым рисунки и рукописи Леонардо да Винчи – предвестие летания, «Современные художники» Рескина – о форме облаков. Ранние очерки Пришвина «В краю непуганных птиц» – летают! Берлинское издание рассказов Ивана Шмелева «Как мы летали» – само собой. И журналы, журналы, авиационные журналы, в том числе германские, там я впервые увидел свастику. Гитлеровский символ под нашим высоким потолком меня, признаюсь, обеспокоил, но я прочел в речи Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». Осталась же марка «Мерседес», а дед и его друг Луцкой (которого теперь называют гением) имели дела с той фирмой.

Дома у нас возникали живые фигуры из истории летания. «Дедушка русской авиации» Россинский, с именем, как у деда – Борис, а с отчеством необычайным: Ил-ли-о-до-ро-вич, он с дорожки Московского ипподрома взлетал первым, а я на той же дорожке приезжал последним. Заглядывал к деду пилот Гризодубов, отец прославившейся летчицы, он был в разладе дочерью и приходил отвести душу. Вспоминая печального старика, который одним из первых штурмовал небо, я думаю, какие были дерзатели! В эпоху гуза и дуги, ещё не отошедшую, летели в небесном пространстве.

Каждый брался за штурвал, зная, что это не вожжи – для пилота за штурвалом и у рычагов порыв ветра может оказаться смертельным. Даже сегодня от летчиков слышишь: «Каждый вылет – риск». В дедовых бумагах я нашел снимок из «Нивы»: шеренга первых русских соколов, дед знал каждого из них, погибли все. В тех же журналах мне попался ответ авиатора-родоначальника на вопрос, почему летательный аппарат должен весить как можно меньше: *чтобы при падении не раздавил пилота*. Нашел и письмо Марии Максимовны, она спрашивает, как выглядит летчик-испытатель первого авиазавода, на котором работает её муж, мой дед, она



просит его «больше не летать». Дедушкина ответа не нашел, по дате письма высчитал: бабушка спрашивала о внешности летчика, когда спрашивать было поздно – человек воздуха успел разбиться.

Дед рассказывал, как он встретился с Нестеровым ещё до совершения им «мертвой петли», не прославленным, но поразившим деда, как поражает яркая личность. Дед решил рассказать о выдающемся человеке-летчике в своем журнале «Мотор» и попросил брата, увлекавшегося недавним по тому времени искусством фотографии, сделать с летчика снимок, что и было исполнено<sup>65</sup>. Не могу проверить, но, по-моему, при жизни Нестерова поместить снимок не успели, русского аса вскоре не стало.

Дерзкие порывы в неведомое, далекие странствия, тяга в море, путешествия к белым пятнам на картах, штурм неба, мечта о завоевании вселенной – всё субсидировалось империалистической экспансией, но смельчаки, претворявшие мечты в реальность, шли на смертельный риск, объятые жадой бескорыстного познания.

«Стремление уйти от изображения существенных коллизий современной жизни» – сказано о романах Стивенсона в томе Большой Советской Энциклопедии 1957 г. издания. Да, неоромантизм – поэтизация погони за наживой. Но какая поэтизация! Извлекающая из жажды обогащения поддающееся поэтизации. На той же волне возникли Жюль-Верн, Джозеф Конрад, Киплинг, Джек Лондон. С открытием Нового Мира явился Шекспир. Россия в итоге Петровских реформ, по словам Герцена, получила Пушкина.

Праздником, ещё довоенным, был для меня приход к деду раннего ракетчика, умевшего запрягать лошадь. Звали его Василий Иванович, фамилии так и не знаю, но для меня незабываем: придет и сделает из веревок сбрую для моей картонной Чернушки<sup>66</sup>.

Пионер ракетоплавания Кондратюк, избравший деда хранителем своего архива, его не помню. Не остался он у меня в памяти, возможно, потому, что мы с матерью жили на даче, когда перед уходом на фронт Кондратюк заглянул к деду, посмотрел на папки, книги на полках и, как рассказывал дед, говорит: «Борис Никитич, если не возражаете, я свои бумаги оставляю у вас»<sup>67</sup>. Звездоплатель работал пекарем, но когда расстался с пекарней, бедствовал до крайности, об этом дед тоже рассказывал, а Маруся живописала, как среди прочих звездоплателей она отличала Кондратюка по ботинкам со срезанными носками. У бывшего пекаря, бросившего булки печь и взявшегося конструировать ракеты, не было денег купить обувь своего размера, ходил в ботинках, словно в сандалиях, пальцами наружу. Марусины рассказы были украшены подробностями, каких она не повторяла в присутствии деда, однако она обладала

<sup>65</sup> Михаил Никитич Воробьев (1890–1939), химик-пиротехник, образование и унтер-офицерский чин получил в Киевском пиротехническом училище. Разряжал бомбы террористов и сам едва не подорвался на бомбе. Ездил на первобытном мотоцикле, а его старший брат, летавший на первых самолетах, средство наземного передвижения считал самоубийственным, так и говорил: «Мотоцикл – самоубийство». В советские времена Дядя Миша осваивал марганцево-калиевые месторождения в Соликамске, спускался в шахты, получил инвалидность, скончался от заболевания, похожего на малокровие и рак костного мозга, но так и не диагностированного даже Джанелидзе, который установил смерть раненого Кирова и сообщил Сталину.

<sup>66</sup> В 1983 г. во время очередной поездки в США по линии Двусторонней Комиссии в городе Провиденс, штат Род-Айленд, я познакомился с соседкой моих партнеров, преподавателей Университета Брауна, соседка назвалась «приемной дочерью Юрия Васильевича Кондратюка». В дневнике у меня записано: «Читала книгу деда о Циолковском (где упоминается Кондратюк). Говорит, что “Кондратюк” – чужое имя, её отца, что он – Шамрай (так я расслышал, теперь установлено Шегрей). Скрывался как белый. Некоторое время не замечали, потом – конец (арест и тюремное заключение, вскоре признанные безосновательными)».

<sup>67</sup> Марина Александровна Пантелеева, актриса и профессор актерского искусства. Умом и внешностью покоряла сердца многих незаурядных личностей. «Какая скука!» – говорила о рассуждениях Льва Давидовича. Особая глава в литературе о Ландау – его любвеобильность и, как ни странно, нет в ней истории, которую выдавали за правду в Институте, так называемом ФИАНе, где он работал. Не добился великий физик взаимности у ещё одной привлекательной особы, причем они друг для друга остались инкогнито. Аспирантка по физике, она, разумеется, знала, кто такой Ландау, но как он выглядит – не представляла себе, Ландау на этот раз принял обличие человека более чем легкомысленного и нереспектабельного. И вот Лев Давидович идёт в ФИАНе по коридору, а она ему навстречу, особой радости не выразила. Зато Лев Давидович рад был встрече и между прочим спросил: «Почему вы тут оказались?» Получил резкий ответ: «Я аспирантка, а вы-то что здесь делаете?». Историю мне рассказали со ссылкой на самого Ландау.

талантом повествователя, у неё была способность, которую Кольридж, а следом за ним Джозеф Конрад и Джек Лондон называли воображением высшего порядка по сравнению с фантазией.

Фантазируют, громоздя Осу на Пелион, творят некую невероятность или просто нелепость. Творческое воображение – способность создать правдоподобное невероятное, кажущееся естественным, будто так и надо. Чтобы такое получилось, надо представить себе причинно-следственную связь явлений, не поддающихся пониманию. У Джозефа Конрада капитан, повидавший мир, признает, что лишен воображения. Не может рассказать о том, что видел? Не способен понять им увиденное. У Джека Лондона лишенный воображения старатель погибает, потому что ему в голову не приходит, что в одиночку ничего не добьешься.

Маруся не выдумывала, а додумывала – законченное мифотворчество. Согласно её повествованию, на пути из Омска в Москву дед с Королевым оказались в одном вагоне, Королёв возвращался из ссылки, дед ехал утрясать вопрос о помещении для Архива Циолковского, Маруся, по её словам, напекла им на дорогу пирогов, а было это или не было, разрешить столь же трудно, как установить, почему Дефо поселил Робинзона в пещере, когда реальный «Робинзон» жил в хижине. Крупницы истины в Марусином рассказе: архив Циолковского, пребывание на Иртыше Королева в лагере, Деда с Марусей – в расположении местного аэропорта и уважительное отношение Королева к деду. Крупницы разбросаны во времени и пространстве, не могу восстановить нить связующую. Подтверждаемая достоверность: в музей Королева «закрытый» хотели мы попасть вместе с Генри Купером, он писал о космосе. Стоило произнести «Борис-Никитич», и двери музея отворились.

А Кондратюк к нам в самом деле приходил, что сверх этого, то присочинено, развито из зерна достоверности в духе правдоподобного вранья по «Робинзону Крузо», марусиной любимой книги, которую в пересказе Чуковского она читала мне по слогам. Слушаешь – веришь. Кроме «Робинзона», «Конька-Горбунка», «Каштанки» и «Золотого ключика», образцами убедительности мне служили «Просто истории» Киплинга с его же рисунками. В «Золотой библиотеке» просто истории назывались «Необыкновенными сказками», их читала мне мать. Разумеется, я не мог определить своего впечатления: волшебство слов, оживляющих вещи. То же впечатление, когда мать читала мне «Маугли» с иллюстрациями Ватагина и «Рикки-Тикки-Тави», оформленный Кардовским, – подарок от Марии Константиновны. Дед постучал пальцем по надписи: «Дочь Циолковского».

С тех пор в каждой книге ищу достойное моих детских впечатлений: не описания, а словесные создания. Если картинной выразительности нет, то книги для меня не существует. Выразительность слов должна быть доведена до поступи пантеры, быть собачьей грустью, стать удалью Ивана-дурака, сумевшего удержаться на дикой лошади.

Кобылица молодая,  
Очью бешено сверкая,  
Змеем голову свила  
И пустилась, как стрела.  
Вьётся кругом над полями,  
Виснет пластью надо рвами,  
Мчится скоком по горам,  
Ходит дыбом по лесам,  
Хочет силой аль обманом,  
Лишь бы справиться с Иваном.  
Но Иван и сам не прост —  
Крепко держится за хвост.

«Вот как надобно писать», – сказано Пушкиным о другой книге, но, говорят, он и к этой сказке руку приложил.

«Отмечая сегодня замечательный праздник – День космонавтики, мы должны помнить тех людей, кто сделал все, чтобы это событие стало возможным».

*«Омская правда», 12-го апреля 1990 г.*

До войны Архив Циолковского находился под опекой ОСОВИАХИМА, возглавлял Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству «сталинский сокол» Василий Молоков. С началом войны летчик, спасавший челюскинцев и перевозивший папанинцев, не потерял в панике головы. По его распоряжению Деду Борису с Марусей был предоставлен товарный вагон, и через Казань под Омск, на берега Иртыша, в распоряжение местного аэропорта они на товарнике доставили большие фанерные ящики с крупной черной буквой и номерами, например, Ц-6. Деда с Марусей вместе с ящиками принял комиссар Ширшов, его я хорошо запомнил: после нашего с матерью визита к деду он отправлял нас на самолете.

Снова увидел я те же ящики, когда мы с матерью вернулись в Москву, дед вернулся раньше нас, Маруся доставила из Омска Архив, с ней же прибыл поросенок и собачка Шарик, которую они подобрали ещё на пути в Омск. Поросянок, пока мы не вернулись, жил в нашей комнате и привлек пропасть блох (кусались!), дед отдал его скульптору Меркурову, занятому созданием памятника Циолковскому, у скульптора при мастерской был сарайчик. Не знаю, какие условия содержания поросенка были заключены со скульптором, знаю, что поросенок оказался им съеден, так и говорили: «Поросянок, которого съел скульптор». Шарик остался с нами, но меня недолюбливал, ревную к деду, старался при случае укусить.

Деда Бориса разоблачили, Архив Циолковского отправили в Академию наук, а деда перевели в Институт истории естествознания и техники. Ящики же с огромными буквами Маруся не выбрасывала, в них хранили домашние вещи. Использовала она и куски гофрированной обшивки, руками Циолковского сделанные для цельнометаллических дирижаблей, тех самых, о которых Циолковский, когда ему Сталин дал пенсию, писал вождю, что советские дирижабли будут лучшими в мире. А Маруся на фрагменты волнообразного серебристого металла ставила горячие кастрюли и железный чайник, тот, что с ящиками под буквой Ц проделал путь из Москвы в Омск и обратно в Москву.

«Полная правда об этих странных делах – вот чего давно ожидало от меня всеобщее любопытство, и она, несомненно, будет встречена всеми с одобрением».

*Р. Л. Стивенсон. «Владелец Баллантрэ» (Перевод Ивана Кашкина).*

Дед взял меня с собой в Калугу на заседание, посвященное пятидесятилетию со дня смерти Циолковского. Ехали мы в служебной машине генерала, сам он сидел на переднем сидении рядом с шофером, и я не разглядел хорошенько его лица. На заседании оказался я в зале рядом с внучкой Циолковского. Когда генерал вышел на трибуну зачитывать свой доклад, внучка, услышавшая его фамилию, сказала мне шепотом: «Это изобретатель “Катюши”». Принялся я пожирать генерала глазами, пытался разглядывать и на обратном пути. Засмотрелся до того, что забыл в генеральской машине свой фотоаппарат «Комсомолец». Генерал завез его к нам на Страстной бульвар, было это в сентябре, в декабре он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Репутация нашего с дедом особого спутника колеблется от создателя Оружия Победы до плагиатора, присвоившего чужие изобретения. Судя по тому, что мне удалось о нем прочитать, во всем есть частицы правды и нет слов собрать все сведения в единую формулу.

Полная правда, которую в повести «Владелец Баллантре» обещает открыть свидетель событий, озадачивает самого же свидетеля. Не делая выводов, рассказчик предлагает их сделать самим читателям, а читатели тоже остаются озадачены, и такова была цель Стивенсона, в книгах для юношества наметившего модернизм: правда не укладывается в определения.

Был ли виданный мной генерал Отцом «Катюши»? Судя по тому, что удалось мне прочитать: его следует осудить морально за превышение своего вклада, но ему же нельзя отказать в претворении идей, высказанных, однако не осуществленных многими. Это вывод из мнений, накопившихся после осуждений, наград и уравновешенной оценки.

Открыл мне глаза на первенства и приоритеты разговор со старшим сотоварищем Брата Сашки, физиком Яковом Абрамовичем Смородинским. Сферой общих интересов у нас с физиком был Льюис Кэрролл, а Смородинский считался учеником Ландау. Лев Давидович – одна из тех значительных фигур, возле которых я непреднамеренно оказывался то и дело. Безуспешно приударял он за нашей «Машкой», докучая ей разговорами о тайнах мироздания<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Слова Лоуэлла находят подтверждение в книге двух авторов «Литературный Нью-Йорк». В книге приводятся сведения о том, когда «еврейское присутствие стало преобладать в литературе и критике Нью-Йорка» См. Susan Edmiston and Linda D. Cirino. *Literary New York. A History and Guide*. Boston: Houghton Mifflin, 1976, pp. 246–268.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.